

«Люди спасаются только слабостью своих способностей — слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить».

И.А. Бунин «Окаянные дни»

Глава первая

Москва, 1918

Дождь лил несколько суток, оплакивал разграбленный, одичавший город. Под утро небо расчистилось, показались звезды. Холодная луна осветила пустынные улицы, площади, переулки, проходные дворы, разбитые особняки, громады многоэтажных зданий, купола храмов, зубчатые кремлевские стены. Проснулись куранты на Спасской башне, проббили двенадцать раз, то ли полночь, то ли полдень, хотя на самом деле было три часа утра.

Большевицкое правительство поселилось в Кремле еще в марте. Кремль, древняя неприступная крепость, остров, отделенный от города глубокими рвами, мутной речной водой, был надежней дворцов Петрограда. Кремлевский слесарь, мастер на все руки, упорно пытался починить старинный часовой механизм, разбитый снарядом во время боев в ноябре 1917. Куранты плохо слушались, вроде бы начинали идти, но опять вставали и никак не желали играть «Интернационал» вместо «Коль славен наш Господь в Сионе». Откашлявшись, как будто извинившись, они прохрипели какую-то невнятную мелодию и затихли.

Новая власть хотела командовать не только людьми, но и временем. Полночь наступала ранним вечером, утро — глубокой ночью.

Почти перестали ходить трамваи. Фонари не горели, темны были улицы, темны окна, лишь иногда дрожал за мутным невымытым стеклом желтый огонек керосинки. И если в каком-нибудь доме вспыхивало среди ночи электричество, это означало, что в квартирах идут обыски.

Парадный подъезд дома на Второй Тверской был заколочен. Жильцы пользовались черным ходом. По заплыванном щербатом ступеням волокли вверх санки с гнилой картошкой. На площадках

между этажами ночевали какие-то личности в тряпье. Из квартир неслись звуки гармошки, визг, матерный рев, пьяный смех, похожий на собачий лай.

После суточного дежурства в госпитале Михаил Владимирович Свешников спал у себя в кабинете, на диване, одетый, в залатанных брюках и вязаной фуфайке. Ночь была теплая, но профессор мерз во сне, он сильно похудел и ослаб, у него сводило живот от голода. В последнее время ему перестали сниться сны. Он просто проваливался в глухую черноту. Это было не так уж плохо, ибо раньше каждую ночь снилась ушедшая, нормальная жизнь. Происходила коварная подмена, возникало искушение принять сон за реальность, а от реальности отмахнуться как от случайного ночного кошмара. Многие так и делали. То есть добровольно, целенаправленно, день за днем, ночь за ночью сводили себя с ума. Но не дай Бог. Следовало жить, работать, спасать, когда вокруг убивают, беречь двух своих детей, Таню и Андрюшу, маленького внука Мишу, старушку няню и ждать, что страшное время когда-нибудь кончится.

Михаил Владимирович работал рядовым хирургом все в том же лазарете, только теперь он носил имя не Святого Пантелимона, а товарища Троцкого и был уже не военным госпиталем, а обычной городской больницей, подчиненной Комиссариату здравоохранения.

Сутки на ногах. Обходы, осмотры, консультации, сложнейшая операция на сердце, которая длилась четыре с половиной часа и вроде бы прошла успешно. При острой нехватке лекарств, хирургических инструментов, опытных фельдшеров и сестер, в грязи и мерзости спасенная жизнь казалась невозможным чудом, счастьем, хотя стоила совсем немного, всего лишь фунт ржаной муки. Красноармеец на базаре ткнул штыком в спину мальчишкунбеспризорника. Десятилетний ребенок попытался стащить у него кулек с мукой. Давно уж никого не удивляла такая страшная дешевизна человеческой, детской жизни. Люди умирали сотнями тысяч по всей России.

Михаил Владимирович спал так крепко, что шум и крики за стеной не сразу разбудили. Он проснулся, когда прозвучали выстрелы.

Светало. На пороге кабинета стояла Таня, держала на руках сонного хмурого Мишу.

— Папа, доброе утро. Лежи, не вставай. Возьми Мишу. У тебя, кажется, было берлинское издание «Психиатрии» Блюера. — Она закрыла дверь, повернула ключ в замке.

— Да. Посмотри в шкафу, где-то на нижних полках.

— Контра! Генеральская рожа! Убью! — донесся вопль из коридора.

— Папа, чернил у тебя случайно не осталось? — спокойно спросила Таня. — Мои все кончились. Надо писать курсовую по клинической психиатрии, а нечем.

— Пиши чернильным карандашом. Возьми там, на столе, в стакане.

За дверью опять грохнули выстрелы. Мишенька вздрогнул, уткнулся лицом деду в грудь и тихо, жалобно заплакал.

— Буржуи! Ненавижу! Довольно попили народной крови! Вычеркиваю! Всех вас, белую кость, к стенке! Кончилось ваше время! Всех вычеркиваю!

— Что там происходит? — спросил Михаил Владимирович, прижимая к себе внука.

— Как будто ты не понимаешь. Комиссар беснуется, — объяснила Таня.

Комиссара по фамилии Шевцов поселили в квартире Михаила Владимировича месяц назад, в порядке уплотнения. Он вместе с гражданской женой, которую звали товарищ Евгения, занял гостиную. Комиссар ходил в длинном кожаном пальто, в казачьих галифе василькового цвета, в лаковых остроносых сапогах. Его обритый череп имел странную, зауженную кверху форму. Щеки и нижняя часть лица были пухлыми, круглыми. Он щурил маленькие тусклые глазки, как будто целился в собеседника из револьвера. По будням вел себя тихо. Рано утром отправлялся на службу. Возвращался поздно вечером, молча, мрачно слонялся по коридору в кальсонах и просаленной матросской тельняшке.

Товарищ Евгения, юная, елейно нежная блондинка, нигде не служила, вставала поздно, заводила граммофон, щеголяла в шел-

ковых пеньюарах, отделанных перьями и пухом. Утром варила на примусе настоящий кофе. Пила из тонкой фарфоровой чашки, жеманно оттопырив мизинец. Долго сидела в кухне, качала голой ногой, курила ароматную папироску в длинном мундштуке, читала одну и ту же книжку, «Капризы страсти», Г. Немиловой. Круглые голубые глаза, блестящие, словно покрытые свежей глазурью, ласково смотрели на Андрюшу, на Михаила Владимировича. Товарищ Евгения задумчиво улыбалась, трепетала подведенными веками, случайно оголяла небольшую грушевидную грудь и тут же с лукавой улыбкой прикрывала: «Ах, пардон».

Андрюше было четырнадцать, Михаилу Владимировичу пятьдесят пять. Из представителей мужского пола, проживающих в квартире, только десятимесячный Миша не удостоивался внимания товарища Евгении.

С Таней в первые дни она пробовала подружиться. Рассказывала, какие видела изумительные вещички на Кузнецком, платица креп-жоржет, кофточки вязаные. Короткий рукавчик, воротник апаш, шелковый ирис, цвет сырого желтка, давленной клюквы, и с той же воркующей интонацией вдруг спрашивала, не собирается ли профессор Свешников удрать в Париж, хорош ли был Танин муж, белый полковник, в половом отношении.

В первую неделю все казалось не так страшно. Семья профессора отнеслась к подселенцам как к неизбежному, но терпимому злу. Уплотняли всех, подсеяли и по пять, и по десять человек, уголовников, наркоманов, сумасшедших, кого угодно. А тут всего лишь двое. Комиссар Шевцов — ответственный работник, товарищ Евгения — эфемерное, безобидное создание.

Однажды в воскресенье ответственный работник напился и стал буяннить. Вызвали милиционера, но комиссар чудесным образом протрезвел, показал какие-то мандаты, пошептался с милиционером, и тот удалился, вежливо заметив профессору, что нехорошо беспокоить служителей порядка по таким пустякам.

— У моего Шевцова голос громкий, командный, соответственно должности, — объяснила товарищ Евгения, — он человек прогрессивный, пролетарского самосознания и никаких мещанских скандалов органически терпеть не может.

Впрочем, пил комиссар не чаще раза в неделю, только в выходной, и успокаивался довольно скоро.

— Где Андрюша? Где няня? — спросил Михаил Владимирович.

— Не волнуйся. Они на кухне, дверь успели запереть. — Присев на корточки, Таня спокойно просматривала корешки книг на нижних полках.

— Раньше он не стрелял в квартире, — заметил Михаил Владимирович.

— А теперь стреляет. Но это еще полбеды, папа. Я не хотела тебе говорить, но пару дней назад товарищ Евгения предлагала Андрюше кокаин. Вот, нашла. — Таня вытащила книгу, села за стол.

— Он тебе рассказал? — спросил Михаил Владимирович.

— Нет. Я случайно услышала их разговор. И знаешь, мне показалось, если бы я не зашла в кухню, не увела бы Андрюшу, он бы согласился попробовать, просто из любопытства и детского куража.

Топот, грохот, мат звучали совсем близко, в коридоре. К ним прибавился женский смех.

— Шевцов, ты ведешь себя гадко, перестань скандалить, я этого мещанства органически не выношу. — Голос у товарища Евгении был низкий, томный. Она заливалась хохотом, спектакль явно ей нравился.

— Ну, что касается кокаина, так не они его придумали, — сказал Михаил Владимирович и почесал переносицу. — Андрюша разумный человек. Вряд ли он бы стал пробовать. Тебе показалось. Я поговорю с ним.

— Поговори, — кивнула Таня, глядя в раскрытую книгу, — но дело не только в кокаине. Папа, ты должен наконец решиться.

— На что, Танечка? Ты же знаешь, они меня не выпустят.

— Не выпустят, — прошептала Таня, — не выпустят. Стало быть, надо искать другие варианты. Допустим, ты согласишься сотрудничать с ними, войдешь в доверие, они отправят тебя в командировку за границу. Многие так делают.

— Да, Танечка, возможно, отправят. Тем более тут останутся заложники. Ты, Миша, Андрюша, няня. Куда же я денусь? Вернусь

как миленький. Впрочем, если я стану сотрудничать, наша жизнь, безусловно, изменится. Они отселят этих, позволят нам занять всю квартиру, как прежде. Дадут хороший паек. Прекратят ночные спектакли с обысками. Тебе не придется работать в госпитале, ты сможешь спокойно закончить университет. Андрюша перейдет в нормальную школу, где будут учить, а не пролетаривать.

— Папа, таких школ больше нет. Ты же знаешь, школа теперь не учебное заведение, а инструмент коммунистического воспитания. И обыски не прекратятся. У меня муж белый полковник, служит у Деникина.

— Убью! Контра! Гадина белогвардейская! Пролетариям жрать нечего, он крыс зерном кормит! Убью! — не унимался комиссар за стеной.

— Возьми Мишеньку. Посмотри, кажется, он мокрый. Не волнуйся. Запри за мной. — Михаил Владимирович встал и быстро вышел, плотно затворив дверь.

Выстрелы звучали из лаборатории. Комиссар палил по стеклянным ящикам с крысами, обстреливал шкафы. От звона, грохота, крысиного писка закладывало уши. Товарищ Евгения стояла рядом, в распахнутом японском кимоно с драконами, и весело, звонко смеялась.

Шевцов был замечательным стрелком. Он сразу попадал по движущимся мишеням, по мечущимся подопытным зверькам. За шумом ни он, ни его подруга не слышали, как подошел сзади в мягких старых валенках профессор.

Михаил Владимирович схватил комиссара за запястье правой руки, в которой зажат был револьвер, и успел удивиться, что от Шевцова совсем не пахнет спиртным. Комиссар легко освободил руку, не выронив револьвера. Дуло тут же наметило новую, удобную и близкую цель, профессорский лоб. Товарищ Евгения взвизгнула и отскочила, вжалась в стену.

«Он вовсе не пьян, — подумал профессор. — У него отличные реакции, нечеловеческая сила, его движения точны и безошибочны. Он машина для убийства. Параноидная психопатия. Что-то вроде повальной эпидемии. Сейчас пальнет. Господи, прими мою грешную душу, спаси и помилуй моих детей».

Из кучи осколков на полу вдруг взметнулся белый комок. Большая крыса подпрыгнула, вцепилась острыми коготками в комиссарские кальсоны, стала быстро, ловко карабкаться вверх. Шевцов дернулся, отшвырнул зверька и тут же, на лету, подстрелил.

Все это продолжалось не более минуты. Следующий выстрел предназначался профессору. Раздался щелчок. Комиссар сник, сгорбился, со спокойной досадой прокрутил пустой барабан, вяло выругался.

Повисла тишина. Стало слышно, что опять накрапывает за окном мелкий дождь. В коридоре у двери стояли Таня с Мишенькой на руках, старая няня. Товарищ Евгения сидела в углу на корточках, закрыв лицо руками. Плечи ее вздрагивали. Нельзя было понять, рыдает она или все так же истерически смеется.

Первым опомнился Михаил Владимирович. Оглядевшись, он спросил:

— Где Андрюша?

— Побежал за милицией, — ответила Таня.

Шевцов, ни на кого не глядя, прошел по коридору. Следом, всхлипывая, теряя шлепанцы, поплелась товарищ Евгения. Хлопнула дверь гостиной. Няня взяла Мишеньку и унесла его к себе. Михаил Владимирович поднял с пола белый окровавленный комок, убитую крысу.

— Неужели Григорий Третий? — спросила Таня.

— Он. Рука не поднимается просто выбросить. Может, похороним его, как героя? Ты знаешь, он спас меня, последняя пуля из комиссарского револьвера предназначалась мне.

Таня обняла отца, вжалась лицом в его плечо.

— Папочка, мы уедем, мы сбежим, я не могу больше.

— Тихо, тихо, Танечка, перестань. Я жив, радоваться надо, а ты плачешь.

— Григория жалко, я к нему привыкла. — Таня улыбнулась сквозь слезы. — Старый мудрый крыс, прожил почти три крысиных века.

— И погиб, защитив меня от комиссарской пули.

— Мы положим его в шляпную коробку, зароем во дворе.

Минут через двадцать явились два милиционера. Долго составляли протокол, потом о чем-то беседовали с Шевцовым в гостиной, за закрытой дверью.

— Вы что, не арестуете его? — спросил Андрюша, когда они вышли.

— Истребление крыс уголовным преступлением не является. Наоборот, это дело полезное в санитарном и общественном отношении. Оружие товарищу комиссару разрешено, согласно должности. И мандат имеется. А что касаемо учиненного беспорядка, так товарищ комиссар готов штраф уплатить, как положено.

— Это лабораторные крысы, — сказала Таня.

— Тут, гражданка, полезная жилплощадь, а не лаборатория, — ответил милиционер.

— Он не только по крысам стрелял, но и в меня тоже хотел, — сказал Михаил Владимирович.

— Коли хотел, так и пристрелил бы, — резонно заметил милиционер.

— Конечно, пристрелил бы. Но у него патроны в барабане кончились.

— Кончились, не кончились, а вы, гражданин, вполне живы, никаких ранений у вас не наблюдается.

— Но позвольте! Он психически болен, он опасен, — возмутилась Таня.

— А вот кто тут опасен, это надо разобраться, гражданка Данилова, — произнес мелодичный низкий голос.

Товарищ Евгения стояла в коридоре и смотрела на Таню блестящими глазами.

Милиционеры ушли. Товарищ Евгения скрылась в гостиной. Таня, Михаил Владимирович и Андрюша молча выметали осколки и крысиные тушки, приводили в порядок лабораторию. Няня в кухне стряпала скудный завтрак. Несколько ведер с мусором вынесли во двор, на свалку. Григория Третьего похоронили внутри оградки, там, где прежде была клумба и росли анютины глазки. Дождь кончился. Ключья облаков мчались по небу. Таня стояла над холмиком, влажный холодный ветер трепал ей волосы.

— Ничего не осталось? — тихо спросила она отца, когда вернулись в квартиру, сели за стол.

Михаил Владимирович молча помотал головой.

— Папа, так невозможно! — вдруг крикнул Андрюша. — Должна быть какая-то управа на этих скотов! Так не бывает, папа!

— Не кричи, — Михаил Владимирович погладил его по голове. — Бывает по-всякому, Андрюша, и ты уже достаточно взрослый, чтобы это понимать.

— Но мы не можем, как кролики, терпеть!

— Успокойся, ешь, остынет. — Таня подвинула ему тарелку с ячменной кашей.

Няня заваривала желудевый кофе, просыпала из кулька на пол.

— Ой, я бестолковая, да что ж это, руки мои старые, дырявые!

Она заплакала. Все утро мужественно держалась, а из-за паршивого кофейного заменителя — слезы. Михаил Владимирович принялся ее утешать и вдруг застыл, замолчал на полуслове. В руках у него был мятый лист толстой цветной бумаги. Кулек из-под кофе оказался репродукцией, выдранной из какого-то дорогого альбома. Профессор шагнул к окну, ближе к свету, несколько минут разглядывал репродукцию странной незнакомой картины. Казалось, он забыл обо всем на свете. Губы его едва заметно шевелились, глаза сияли.

— Папа, ты что? — спросила Таня слегка испуганно.

— Альфред Плут, — пробормотал Михаил Владимирович, — Германия, шестнадцатый век. Микроскоп был изобретен только через сто лет. Как он мог увидеть?

* * *

Германия, поезд Гамбург—Мюнхен, 2007

Поезд нырнул в туннель. Свет в вагоне вспыхнул не сразу. Именно этого мгновенного мрака Соне хватило, чтобы понять наконец, кого так мучительно напоминает ей мужчина напротив.

Незнакомец резко выделялся на фоне пассажиров первого класса. Ему было на вид лет пятьдесят. Он жевал жвачку. В его

наушниках пульсировал тяжелый рок. Он выглядел как бездомный бродяга, нелепо молодящийся старый хиппи. Ископаемое, живущее в консервной банке среди отбросов. Впрочем, пахло от него вполне сносно, дорогим одеколоном. Длинные, жидкие, с заметной проседью волосы были чистыми, ногти ухоженными, на запястье вовсе не дешевые часы.

«Рок-музыкант или художник-авангардист. Это у него стиль такой», — подумала Соня и отвернулась.

Рядом с ней два аккуратных клерка оживленно болтали о какой-то новой диете, о страховках и автомобильных двигателях. Они сели в Гамбурге, достали свои ноутбуки, включили, но так и не взглянули на экраны. Соню слегка раздражала их болтовня, громкий смех. У нее на коленях лежал раскрытый каталог старой мюнхенской Пинакотекки. Она пыталась сосредоточиться на биографии немецкого художника Альфреда Плута. Он жил в шестнадцатом веке, оставил не более дюжины полотен. Самая известная его работа — «Misterium tremendum». Именно ради этой картины, ради «тайны, повергающей в трепет», Соня ехала в Мюнхен.

Дед не хотел ее отпускать. Вот уж третью неделю она жила в его доме в маленьком тишайшем Зюльте. Каждое утро ее будила музыка из его кабинета, звон посуды, ворчание экономки Герды, шум моря, гул самолетов. После завтрака дед провожал ее на работу, целовал в лоб и быстро крестил, почему-то лицо его при этом всегда делалось сердитым. Вечером он ждал ее, сидя в шезлонге, на границе пляжа, неподалеку от белого трехэтажного здания с плоской крышей, филиала немецкой фармацевтической фирмы «Генцлер». Пройдя полсотни метров по холодному чистому песку, Соня различала в сумерках яркую спортивную шапку с помпонами. Издали, особенно в профиль, дед был так похож на папу, что у Сони всякий раз вздрагивало сердце, першило в горле.

Туннель кончился. В глаза брызнуло ледяное солнце. Соня отвернулась от окна и встретила хмурый взгляд незнакомца. У него были тяжелые выпуклые скулы, квадратная челюсть, широкий тонкогубый рот. Плоский, скошенный назад лоб плавно переходил в залысины. Лохматые брови цвета мешковины расположены так

низко, что казалось, отдельные толстые и длинные волоски царапают глазные яблоки. Нога, обутая в изношенный ботинок сорок пятого размера, дергалась в такт музыке.

Соня опять уткнулась в каталог. Автопортрет Альфреда Плу-та занимал целую страницу. Художник изобразил себя с беспощадной фотографической точностью, тщательно прорисовал каждую черточку и даже волоски бровей, падающие на глаза.

«Альфред Плут родился в 1547 году в Гамбурге, в семье аптекаря».

Соня в десятый раз начинала читать краткую биографию художника и не могла осилить нескольких простых абзацев. Ее немецкий был в полном порядке. Она понимала каждое слово. Но слишком оживленно болтали клерки, слишком громко пульсировал тяжелый рок из наушников визави, который был похож на Альфреда Плу-та как брат-близнец.

«Портрет не фотография, — думала Соня, — тем более автопортрет. Люди видят себя и других совершенно по-разному. Даже фотографии врут. Свет, тень, ракурс, все так случайно, так недостоверно».

Она взглянула на человека в наушниках, надеясь, что иллюзия фантастического сходства наконец развеется. Человеческих типов не так уж много. Плут был немец. Почему этот стареющий потребитель жвачки и тяжелого рока не может быть его далеким потомком?

«Ведь ты же точно знаешь, что это не Альфред Плут? — спросила себя Соня и почувствовала, как губы ее сами собой вздрогнули в дикой усмешке. — Ты разумный, образованный человек, кандидат биологических наук. Вряд ли ты успела свихнуться. Хотя, конечно, было от чего».

Три дня назад, поздним вечером, с одной из подопытных крыс случилось нечто невероятное. Зверек заметался по клетке, стал прыгать, высоко, как дикая белка, и вдруг вылетел наружу, шлепнулся на кафельный пол, вскочил, побежал, пустое тихое здание наполнилось пронзительным, мучительным писком.

Все ушли, Соня осталась одна в лаборатории. Минут десять она гонялась за зверьком, наконец поймала, запеленала в поло-

тенце, положила в лоток. Пока она надевала халат, натягивала перчатки, несчастная крыса продолжала беситься, биться всем телом о стеклянные стенки. Чтобы не слышать страшного стука и писка, Соня включила музыку. Крыса на минуту успокоилась и вдруг задергалась в конвульсиях.

Если бы кто-то заглянул тем вечером в лабораторию, то поразился бы спокойствию Сони, четкости и продуманности каждого ее действия. Одна, без ассистента, она дала бьющемуся в смертельном танце зверьку наркоз, ловко вскрыла черепную коробку, извлекла из центра мозга крошечную шишковидную железу, включила и настроила электронный микроскоп.

На самом деле она жутко нервничала. «Болеро» Равеля, звучащее из стереосистемы, заводило ее еще больше. Ей сотни раз приходилось проделывать разные манипуляции с подопытными животными, для постороннего человека неприятные, жутковатые, но ведь она занималась наукой, и для нее все это давно стало привычкой, рутинной. Однако тем вечером в лаборатории, на берегу ледяного моря, которое гудело и билось во мраке за окном, у Сони вдруг возникло новое, острое чувство. Ей показалось, что это вовсе не научный эксперимент, а древний ритуал и она, Лукьянова Софья Дмитриевна, выступает в роли жрицы, колдуньи, алхимика, занимается непонятной и опасной чертовщиной. Ничего хорошего из этого не выйдет. Но остановиться уже невозможно.

Она выпила залпом стакан воды, закурила, села за стол у монитора. И вот тут увидела самое главное: как оживают таинственные твари, проспавшие в своих капсулах-цистах почти девяносто лет.

Сначала ей показалось, что кто-то из коллег немцев пошутил, загнал в ее компьютер некую хитрую программу, игру или мультимедийный ужастик. Но нет, изображение проецировалось на монитор прямо от микроскопа. Все происходило на самом деле. Рядом, на столе, лежали распечатки записей Михаила Владимировича Свешникова и каталог старой мюнхенской Пинакотечи, раскрытый на репродукции «Misterium tremendum».

Имя художника и название картины несколько раз упоминались на страницах старой толстой тетради в лиловом замшевом

переплете. Через Интернет Соня узнала, что картина хранится в мюнхенской Пинакотеке, купила каталог в книжном магазине фрау Барбары и нашла отличную репродукцию.

Военный хирург, профессор Свешников, вел свои записи с января 1916-го по март 1919-го. Это был дневник научных наблюдений. Описание экспериментальных операций по пересадке крысиных эпифизов, неожиданный эффект омоложения, возникший у некоторых подопытных животных, и осторожное предположение, что эффект этот связан с воздействием на весь организм неизвестного мозгового паразита, который случайно оказался в шишковидной железе крысы-донора.

Скоро профессор понял, что сложная операция на мозге не нужна. При внутривенном вливании паразит сам находит путь по кровотоку к нужному органу, к эпифизу.

Это могло бы стать величайшим открытием века, если бы удалось понять механизм воздействия мозгового червя и проследить закономерность положительного эффекта. Почему одних зверьков паразит омолаживал, а других убивал? Что за вещества выделял он и как умудрялся полностью перестроить работу всех систем организма?

Но Михаил Владимирович Свешников как будто даже и не пытался найти ответ, воспринимал удивительные результаты опытов отстраненно, почти равнодушно. Все, что касалось практической, медицинской стороны дела, было описано сухо, четко. Профессор только констатировал факты.

Иногда встречались цитаты, то с именем источника, то анонимные. Возможно, именно через них профессор пытался выразить нечто важное, они были частью его зашифрованного личного дневника.

«Субстанция зла имеет свою собственную безобразную и бесформенную массу, либо плотную, которую называют землей, либо слабую и разреженную, подобно воздуху».

«Посему научись, о Душа, обращать соперечающую любовь к своему собственному телу, сдерживая его суетные желания, дабы оно могло во всех отношениях отвечать своему назначению вместе с тобой».

«Ибо тогда последний враг — смерть будет побеждена, и вся слабость плоти, заставлявшая нас сопротивляться, исчезнет полностью». Бл. Августин.

«Язычество и безбожие страшно именно этой вечной иллюзией торга, соблазном кинуть в пасть смерти жертву, вместо своей — чужую жизнь, и откупиться. По крайней мере, двадцать восемь веков, до Христа, было именно так. После Него могло стать по-другому, Он дал шанс, однако вот уж двадцать веков не получается. Торг очень уж удобен».

«Наука может шагнуть невероятно далеко, но почему-то не вверх, к Богу, а всегда наоборот, вниз. Она берет на себя воспитательные и утешительные функции, придумывает ясные и доступные формулировки, прикрывает пугающую непознаваемую бесконечность матовым стеклом. Получается нечто вроде интеллектуальной теплицы. Мы все нежные тепличные растения, под открытым небом погибнем».

Попадались непонятные аббревиатуры, отдельные буквы, без всякой видимой связи с текстом — В. Ш., К., Ж. С.

Судя по записям, за пределы опытов с крысами работа не продвинулась. Несколько листов были вырваны. В марте 1919 профессор крупно, неверной рукой, записал:

«Идеальное есть материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней». К. Маркс. *«Нечто вроде трансплантации, что ли? Оригинально мыслит этот господин».*

Тетрадь закончилась. Дальше начинались мифы. Их бродило множество, и вряд ли стоило принимать их всерьез.

Существовала легенда, будто одно вливание было сделано мальчику-сироте, страдавшему прогерией, редчайшим заболеванием, при котором ребенок стремительно стареет и погибает в одиннадцать—тринадцать лет от старческих болезней. Откуда берется прогерия и как ее лечить, неизвестно до сих пор. Свешников якобы решил на вливание, когда надежды не осталось. Мальчика звали Ося. Он выжил и вернулся к своему нормальному биологическому возрасту. Что с ним стало потом, куда он делся, не знал никто. В лиловой тетради об Осе не было написа-

но ни слова, и это только подтверждало, что история чудесного излечения прогерии — всего лишь газетная утка.

Впрочем, не исключено, что Свешников нарочно утаил правду о мальчике, чтобы дальнейшая жизнь ребенка не превратилась в кошмар, чтобы не пришлось Осе оказаться в роли живого наглядного пособия.

Михаил Владимирович не упоминал никого, кто был с ним рядом. Даже имя его ассистента, доктора Агапкина, ни разу не мелькнуло в записях. Казалось, профессор писал с оглядкой, как будто чувствовал, что люди, так или иначе причастные к его опытам, к тайне, которую он нащупал, попадают в зону риска.

Мог ли предположить профессор, что через девяносто лет лиловая тетрадь вместе с цистами паразита окажется в руках его родной праправнучки, кандидата биологических наук Лукьяновой Софьи Дмитриевны?

Соня сидела и смотрела на монитор. Лопались цисты. Медленно выползали белесые твари. У них были округлые крупные головы. Приплюснутая передняя часть отчетливо напоминала лицо, вернее безобразную безносую маску. Две глубокие темные ямки — глаза. Горизонтальный подвижный нарост — губы.

Девяносто лет назад Михаил Владимирович наблюдал такой же ритуальный танец оживших тварей, балет «спящих красавиц». Они плавно извивались, вставали вертикально на хвосты, сплетались, расплетались. Он подробно описал это в своей тетради.

У него не было компьютера и такого мощного электронного микроскопа, как у его праправнучки. Он не мог видеть, что ямы-глаза смотрят, губы жуют, растягиваются в чудовищной медленной улыбке, твари не только танцуют, но еще и гримасничают.

На картине немецкого художника Альфреда Плута «Misterium tremendum» на переднем плане, на фоне какого-то условного грота, была изображена человеческая голова. Верхняя половина черепа представляла собой прозрачный, как бы стеклянный купол, и там, внутри, происходил тот же процесс. Твари были изображены так же подробно, как видела их Соня на своем мониторе. Картина была написана в 1573 году, за сто лет до изобретения микроскопа.

Альфред Плут не стал великим художником, хотя знатоки до сих пор утверждают, что мог бы. По уровню мастерства его сравнивают с Дюрером, а по загадочности сюжетов — с Босхом. Живопись была для него лишь забавой. Он много странствовал по Европе и по Азии, бывал в Египте, каким-то ветром его однажды занесло в Россию. В одном из персонажей его полотен угадывался царь Иван Грозный. Известно, что около года Плут прожил в Москве, служил придворным лекарем, а заодно давал сумасшедшему царю уроки черной и белой магии.

Плут имел неплохую медицинскую практику, написал несколько трудов по анатомии мозга, работал над созданием анатомического атласа. Но главной его страстью была алхимия. Он не имел ни жены, ни детей, жил скромно, однако тратил большие деньги на путешествия и на взятки чиновникам Святой инквизиции. По всей Германии ходили слухи о золоте Плути. Умер он в ноябре 1600 года у себя дома, в Гамбурге, в возрасте пятидесяти трех лет, не оставив наследников. Золотых монет, обнаруженных в его кошельке, как раз хватило на приличные похороны. Грабители вскрыли могилу, искали золото, но не нашли ничего. Вместо тела художника в гробу лежало бревно, одетое в его платье.

«Скажите, господин Плут, каким образом вам удалось разглядеть и нарисовать микроскопических мозговых паразитов за сто лет до появления микроскопа?»

Вопрос щекотал Соне губы, она, кажется, даже пробормотала его вслух, по-русски. В плеере у старого хиппи в этот момент как раз затихла музыка. Он хмуро взглянул на Соню, встал и вышел из купе.

Глава вторая

Москва, 1918

«Плюнь, да поцелуй злодею ручку», — то и дело повторял про себя Федор Федорович Агапкин. Так шепнул на ухо юному Гриневу его дядька Савельич. Так сказал Агапкину его покровитель Матвей Леонидович Белкин, мастер стула международной ложи «Нарцисс».

Цитируя Пушкина, умный Белкин как будто заручался поддержкой великого поэта и пытался придать сделке более или менее осмысленный вид.

— Надобно держаться вблизи денежных потоков, от них веет живительной свежестью, — говорил Мастер уже от себя, никого не цитируя, — теперь эти потоки смешаны с кровью, текут стремительно, и зевать нельзя.

Сам Мастер перебрался из Москвы в Петроград еще в декабре 1917-го. Получил должность в Комиссариате финансов. Семью отправил в Швейцарию. Агапкин знал, что покинуть Россию Мастер может только по разрешению Высшего совета ложи, но после переворота все пошло кувырком, и никто ни в чем не был уверен. Мастер вполне мог сбежать и без разрешения.

Несколько месяцев Федор не имел о нем никаких известий, продолжал работать в лазарете и жить в квартире профессора Свешникова.

Агапкин был ассистентом профессора и почти членом семьи. Он давно уже не мыслил себя без них, без Михаила Владимировича, Тани, Андрюши, маленького Мишеньки и старой няни. Собственной семьи он никогда не имел.

Федор вырос в нищете, грязи и грубости. Его мать, прачка, умерла от перепоя. Ему удалось закончить с отличием гимназию и университет. Михаил Владимирович читал на медицинском

факультете лекции по военной хирургии, вел практические занятия, и из толпы студентов выделил Федора, с его голодными жаркими глазами, недюжинными способностями, лютым упорством. Студент Агапкин нищенствовал, подрабатывал частными уроками, не спал, не доедал, ходил в обносках.

С тех пор прошло лишь несколько лет, а казалось, что прожит не один век. Война, Февральская революция, Октябрьский переворот. На руках у Агапкина умер от чахотки старший сын профессора Володя и родился внук Миша. Именно Федору пришлось принять роды у Тани 29 октября 1917-го. В Москве шли бои. Муж Тани, полковник Данилов, командовал отрядом юнкеров и добровольцев, пытался отбить от Кремля атаки большевиков.

Агапкин был неизлечимо влюблен в Таню. Данилов воевал в Добровольческой армии. Федор постоянно был рядом с Таней и надеялся на чудо.

С августа 1917-го Агапкин состоял в международной масонской ложе «Нарцисс», прошел посвящение и получил орденское имя — Дисипль, в переводе с французского «последователь». Впрочем, что такое масонство вообще и ложа «Нарцисс» в частности, Федор не понимал до сих пор.

Больше всего на свете он боялся одиночества. Ему надо было непременно к кому-то привязаться, прибиться. В семье профессора к нему относились как к близкому родственнику, но все равно он чувствовал себя немного чужим, страшно устал от своей безответной любви, не мог от нее избавиться и тосковал еще мучительней оттого, что не с кем было поделиться своей бедой.

Мастер стула Матвей Леонидович Белкин оказался отзывчивым человеком, он умел слушать, утешать, вселять надежду. Федор знал, что ложе он интересен как промежуточное звено. Доктор Агапкин — только средство. Цель — профессор Свешников, таинственное открытие, к которому они хотят подобраться, но понимают, что напрямую не выйдет.

Если раньше Федор был рядом с профессором по собственному желанию, то после вступления в ложу это стало его обязанностью, миссией.

Федор втайне надеялся, что Матвей Леонидович исчез навсегда и теперь он свободен. Да, свободен, однако совершенно незащищен. Мастер имел колоссальные связи. Он мог бы спасти самого Федора и семью профессора от голода, от ареста. Другое дело — какой ценой? Впрочем, голод и страх становились все сильнее, а вопрос цены таял, растворялся в убогих советских буднях.

В апреле появился один из братьев ложи, белокурый молодой человек Гайд. До исчезновения Мастера этот Гайд выполнял при нем функции то ли секретаря, то ли слуги. Федор думал, что Гайд (охранник) — условное имя, данное при посвящении, но оказалось, это настоящая фамилия молодого человека.

Гайд встретил Федора возле госпиталя и привел его в гостиницу «Метрополь». Там, в просторном номере с видом на Манежную площадь Белкин сначала отправил Федора в ванную комнату, велел вымыться, побриться, переодеться.

Из крана лилась горячая вода. Душистое французское мыло, бритвенный прибор, мягкие белоснежные полотенца показались Агапкину галлюцинацией. На скамеечке лежала стопка белья и одежды, все новое, добротное, точно подобранное по размеру.

Когда он вышел, чистый, пахнувший одеколоном, Мастер оглядел его с одобрительной улыбкой.

— Это еще не все, Дисипль. Откройте шкаф. Откройте, не стесняйтесь.

Черная кожанка ничем не отличалась от тех, что носили комиссары и чекисты. На ощупь кожа оказалась мягчайшей, приятно было сунуть руки в рукава и увидеть себя в зеркале.

— Вы, Дисипль, с завтрашнего дня заступаете на службу в ЧК, — спокойно сообщил Мастер, — в большевистскую партию вступать необязательно, это мелочи. Через час сюда явится человек, которому вы можете доверять почти как мне.

Это «почти» прозвучало тускло и невыразительно. Далее Мастер стал подробно расспрашивать о профессоре Свешникове. Федор объяснил, что сейчас здесь никакими научными исследованиями заниматься невозможно. Чтобы прокормить семью, Михаил Владимирович работает в госпитале сутками, к тому же на

него давит постоянный страх. Таню, как жену белого офицера, в любой момент могут арестовать. А для опытов нужен душевный покой.

— Но ведь не арестовывают, — мягко заметил Мастер, и глаза его блеснули. — Татьяна Михайловна спокойно учится, работает, растит сына.

Взгляд и тон Мастера не оставляли сомнений, что в этом есть его, Белкина, заслуга. Федор понял: Матвей Леонидович успел приобрести в новом правительстве достаточно сильное влияние и связи, и все-таки быстро, чуть слышно пробормотал:

— Лучше бы уехать за границу. Здесь невозможно. Михаил Владимирович им служить ни за что не станет. Мы бы сбежали, но ребенок слишком мал, а в поездках тиф, холера, грабежи, документы на выезд стоят страшно дорого. — Он прикусил язык и густо, жарко покраснел.

Мастер ласково тронул его за плечо.

— Дисциплина, ваше постоянство достойно рыцарского романа. Вы сказали «мы», как будто речь идет о вашей семье, о жене и ребенке. Неужели до сих пор ни тени взаимности?

— Не знаю. Она ко мне привязана сильно, однако, если я пойду служить в ЧК, станет презирать. Для нее и для профессора эта организация — воплощение зла.

— А для вас?

— Не знаю. Наверное, для меня тоже. Почему я должен там служить?

— Потому, что сейчас это единственный способ уцелеть, сохранить собственную жизнь и жизни дорогих вам людей. Дисциплина, у вас нет выбора. Я дал вам выговориться, теперь успокойтесь и слушайте.

Они вышли на балкон, закурили, и Мастер стал говорить очень тихо.

— Для большевиков успешный захват власти стал полной неожиданностью. Они растерялись, ошалели, управлять государством никто из них не умеет, и они занимаются своим привычным делом — грабежом. От банальной банды они отличаются лишь тем, что выдают грабеж за особую форму управления государ-

ством. Они отнимают деньги у богатых и обещают отдать бедным. Бедные верят обещаниям.

— Но это не может продолжаться долго. Бедные поймут, что обмануты, — прошептал Агапкин.

— Не поймут, — слабо улыбнулся Мастер, — никогда ничего они не поймут. Миф удобен для мозгового пищеварения. Он логичен. В нем заранее выстроены все причинно-следственные связи. А правда почти всегда несъедобна, может вызвать заворот мозгов. Ленин виртуозно владеет искусством создавать мифы и манипулировать ими. Он феноменально хитер, у него острое чутье. Вам придется искренне полюбить его, иначе он вам не поверит.

— Так это он сейчас сюда явится? — с кривой улыбкой спросил Агапкин. — Сам Ленин, что ли?

Мастер весело рассмеялся.

— У меня, конечно, серьезные связи, но не настолько. Нет, Дисциплина. Сам Ленин сюда не явится. Но вам с ним предстоит иметь дело. Человек, с которым я вас познакомлю, тайный советник Ленина, его доверенное лицо.

Федор только сейчас заметил, как Мастер похудел, помолодел. На осунувшемся лице глаза казались крупней и выразительней.

Гайд ушел и вернулся с двумя кулками. На низком журнальном столике появился настоящий ситный хлеб, сливочное масло, твердый швейцарский сыр. Гайд нарезал его тонкими ломтиками.

— Не спешите, — предупредил Мастер, — вижу, как вы голодны. Разговор предстоит важный, и если у вас разболится живот, это будет совсем некстати.

В дверь постучали. У Федора вспотели ладони. Но вошел всего лишь лакей с чистыми чашками и горячим кофейником на подносе. Как только он удалился, дверь открылась опять. На пороге стоял высокий, очень худой господин. Именно господин, потому что «гражданином» или «товарищем» его никак нельзя было назвать. Слишком тонкое, точеное, очевидно дворянское лицо. Большие черные глаза смотрели внимательно и приветливо. Ни тени безумия, фанатизма, жестокости, разве что следы хронического недосыпания. Тонкая шея и оттопыренные круглые

уши придавали ему нечто детское, мальчишеское и делали еще обаятельней.

— Бокий Глеб Иванович, — представился он.

Бокий руки не подал. Он никогда никому не подавал руки, избегал прикосновений. Впрочем, с Белкиным они обнялись и расцеловались, как старинные друзья. Сели за стол и заговорили о пустяках. Бокий называл Мастера «Мотя», тот обращался к нему «Глебушка».

Глеб Иванович был заместителем председателя Петроградского ЧК, Урицкого. В Москву приехал на два дня, остановился здесь же, в «Метрополе». Из разговора Федор понял, что Бокий привез целый список, намерен просить Ленина отпустить за границу известных людей, в том числе нескольких великих князей. Мастер просматривал список, качал головой, комментировал каждую фамилию.

— Из Романовых никого. Лучше не заикайся, — сказал он с тихим вздохом, — тут у Ильича пунктик.

Со стороны казалось, что два добрых, благородных человека пытаются спасти обреченных на верную гибель совершенно бескорыстно, из одного только сострадания. Федор вначале так и подумал, сердце его радостно стукнуло.

Агапкин сидел чистый, сытый,пил настоящий кофе с настоящим сахаром, мазал маслом кусок ситной булки, клал сверху швейцарский сыр с дырками, видел перед собой хорошие, умные лица, живые глаза и готов был заплакать от счастья. Вот, оказывается, как обернулось. Не подлостью и мерзостью предстоит ему заниматься под руководством Глеба Ивановича, а выполнять тайную благородную миссию, внедряться в ряды злодеев, спасать от кровавого кошмара сначала отдельных людей, а потом — кто знает? — Россию, или даже весь мир!

— Сколько вам лет, Федор? — внезапно спросил Бокий.

— Двадцать восемь.

— Отличный возраст. Но, честно говоря, мне показалось, вам не больше двадцати. На вид вы совсем мальчик. Есть у вас семья?

— Нет.

— Семью профессора Свешникова своей не считаете? — вопрос прозвучал быстро и тихо, как далекий одиночный выстрел.

Агапкин притворился, что не услышал. Он не знал, как лучше ответить. Впрочем, отвечать и не пришлось. Бокий несколько секунд просто смотрел ему в глаза. Федору показалось, что этот худой человек в словах не нуждается, умеет читать мысли.

Позже Мастер рассказал, что Бокий до 1917-го двенадцать раз сидел в тюрьме, много времени провел в одиночке. У него туберкулез. В РСДРП он с 1900-го, с двадцати одного года. Учился в Горном институте в Петербурге, участвовал в студенческой демонстрации, и его сильно побили в полиции. Батюшка его покойный был действительный статский советник. Скончался как раз тогда, в 1900-м, после ареста Глеба, от сердечного приступа. Мальчик решил, что в смерти батюшки виновны царские сатрапы, и стал революционером. Близко дружит с Горьким, прятельствует с Шалапиным. Ильича боготворит.

— Иногда мне кажется, он любит вождя больше, чем свою дочь Леночку. Впрочем, понять Глеба Ивановича не может никто, даже я. — Мастер хмыкнул иронически. — Мальчик из хорошей семьи, дворянин. Для фанатика он слишком умен и мягок. Для нормального человека — слишком азартен и фанатичен. Он игрок. Революционная борьба его пьянит, возбуждает. Никакого смысла, никакой пользы — только острое, яркое удовольствие, разумеется, со смертельным исходом.

Федор слушал и не понимал, зачем Мастер, такой трезвый, разумный человек, ввязался в безумную, опаснейшую авантюру под названием советская власть? Почему не уехал за границу? У него достаточно влияния в Высшем совете ложи, чтобы добиться разрешения.

— Ленин, Бокий, — пробормотал он чуть слышно, стараясь не смотреть на Мастера, — чудесная компания.

— Дисциплина, вам страшно?

— А вам?

— Разумеется. Но я уже сказал: у нас нет других вариантов. Я сумел вывезти семью в Швейцарию. Однако поручиться за их безопасность все равно не могу. Видите ли, я слишком глубоко влез в финансовые тайны банды.

— Я в эти тайны не влезал и не хочу, не собираюсь!

— Да, но вы, Дисциплин, единственный человек, через которого можно подобраться к профессору Свешникову. Мне едва удалось убедить их не трогать Таню. Она — потенциальная заложница. Данилов воюет у белых, и формально ее давно пора забрать в ЧК как жену злейшего врага революции. Я сумел объяснить, что насилием и страхом они ничего от профессора не добьются. Но терпение их безгранично.

— В чем будут заключаться мои обязанности? — мрачно спросил Агапкин.

Некоторое время Мастер молчал, сидел, закрыв глаза, и массировал себе виски. Господин Бокий давно удалился, так ничего и не объяснив. Наверное, он просто хотел взглянуть на Федора, просветить его насквозь своим гипнотическим взглядом. Это были смотрины. И прошли они вполне успешно. Ознакомить Федора с деталями предстоящей службы должен был Белкин.

Когда Матвей Леонидович заговорил, слова его показались Федору весьма туманными. Получалось, что Агапкину предстоит стать при Ленине чем-то вроде теневого адъютанта или няньки с высшим медицинским образованием. Вождь в конфиденциальном разговоре с Бокием просил, чтобы тот дал ему своего «человечка», молодого, интеллигентного, честного, без революционно-каторжного стажа, и никак не большевика. Пусть он будет врач, но чтобы никто не догадывался об этом.

— У Ильича полно секретарей, при нем есть служба охраны, множество врачей всегда к его услугам, но все его раздражают, он почти никому не доверяет.

— Почему вы думаете, что он станет доверять мне, чужому человеку? — тихо спросил Агапкин.

— Дисциплин, — Белкин лукаво улыбнулся, — вы не чужой, вас рекомендует Глеб Иванович.

— Но он тоже меня не знает.

— Зато я вас хорошо знаю. Знаю и ручаюсь за вас.

— Как же моя основная миссия — быть рядом с Михаилом Владимировичем, продолжать вместе с ним опыты, охранять, защищать?

— Охранить и защитить профессора вы сумеете только там, куда я вас направил. Такое время, Дисциплина. Ничего не поделаешь. У нас нет выбора. А опыты будут продолжены позже, когда жизнь немного наладится.

* * *

Мюнхен, 2007

Соня бродила по старой Пинакотеке и никак не могла дойти до зала немецкой живописи, отыскать Альфреда Плута. В зале ранних голландцев она надолго застряла возле фрагмента «Судного дня».

Это был единственный подлинник Босха, представленный в Пинакотеке. Странная картина, даже для такого загадочного художника. На черном фоне множество фигурок обнаженных людей, которых мучают и пожирают фантастические твари. Существо с туловищем жабы и головой кошки кого-то уже слопало, из зубастой пасти торчат тонкие и длинные, как у современной модели, ножки. Ящерица с клювом цапли и крыльями бабочки набросилась на распростертое мужское тело, клюет тощие ягодички. Чудище с человеческим торсом, покрытым рыбьей чешуей, с павлиньим хвостом и головой ощипанной курицы тащит на спине, вверх ногами, за щиколотки молодую стройную женщину. Парочку преследует вскачь, на кривых стариковских ногах, гигантская муха, тянет к бедной женщине лягушачьи перепончатые лапки. Рядом застыло вполне безобидное существо. Голова в кружевном чепце, лицо доброй испуганной старушки. Голубая накидка накрывает горбатый короткий обрубок туловища, а из-под накидки торчат четыре большие старческие ступни и сорочий хвост.

Приятный женский голос в наушниках рассказывал, что на фрагменте изображено воскрешение из мертвых. Сама картина бесследно исчезла.

Небольшой кусок холста в красивой раме темного дерева гипнотизировал, не отпускал. Голос в наушниках грустно сообщил, что творчество Босха воспринималось большинством современ-

ников как злое шутовство, его называли почетным профессором кошмаров, многие считали, что он рисовал извращенные карикатуры. Потом пришло забвение, и только двадцатый век с его фрейдизмом и сюрреализмом вспомнил странного средневекового фантазера. У Босха учился великий Сальвадор Дали. Психоналитики увлеченно толковали его образы в своем подсознательном русле. Искусствоведы объявили, что понять, в чем смысл его творений, невозможно.

Соня подошла совсем близко, долго разглядывала каждую деталь. Радиоголос поведал о картине все, что мог, и затих, ожидая следующего нажатия кнопки.

«Он писал это в пятнадцатом веке, — думала Соня, — тогда еще не было попыток пересаживать стареющим мужчинам половые железы животных, скрещивать человека с обезьяной, приживлять человеческое ухо к спинному мозгу мыши, выращивать в пробирке отдельные органы и целых существ из стволовых клеток. Пятьсот пятьдесят лет назад Босх изображал с фотографической точностью и тончайшими анатомическими подробностями то, к чему вплотную подошла сегодняшняя наука. Генная инженерия, новейшие биотехнологии. Чтобы так рисовать, надо видеть. Неужели дело только в богатой фантазии, в ночных кошмарах, в страхе перед неведомой адской бездной? Очень уж конкретны и подробны эти страхи».

Соня зажмурилась, тряхнула головой. Стоит ли вообще думать об этом, задавать себе вопросы, на которые нет ответов? Она отправилась в следующий зал, к немцам, и сразу встретила печальный, ласковый взгляд Дюрера.

Он был красавец, и отлично знал это. Он писал автопортрет, глядя в зеркало. Конечно, не на зрителя, а на себя самого он смотрел этим чудесным, глубоким взглядом. Он изучал свое лицо, любовался им и заранее грустил о своей красоте, предвидел старость и смерть. Он изобразил себя так, как до него писали только Христа, лицо полностью, анфас, на черном гладком фоне, украшенном лишь мелкой латинской надписью: «Я, Альбрехт Дюрер, 28 лет от роду, написал нетленными чернилами свой портрет».

У него были светло-карие прозрачные глаза, маленький, пухлый, чувственный рот, холеные пепельно-русые локоны до плеч. Рядом с ним Альфред Плут выглядел убогим уродом.

Плут изобразил себя, явно подражая Дюреру. Та же простая композиция, тот же черный фон, прямой ракурс, даже размер полотна точно как у Дюрера. Но черты грубы, безобразны. Волосы жидкие, цвета мешковины. Маленькие желтоватые глаза холодно блестят из-под косматых бровей.

Автопортреты были расположены один против другого, через зал. Они висели здесь двести лет и смотрели друг на друга, как будто вели бесконечный, беззвучный диалог. Соня оказалась в центре зала, в точке пересечения этих взглядов, и, сравнивая два лица, вдруг подумала, что Плут бросает вызов Дюреру. «Ты был хорош, но тебя уже нет. Я уродлив, но я жив и люблю себя не меньше, чем ты». Вызов подтверждала одна странная деталь.

Дюрер придерживал правой рукой лацкан мехового воротника. Тонкие сильные пальцы зарылись в мягкий мех. Рука Плута была нарисована почти так же, но держала странный предмет, человеческий череп, не настоящий, костяной, а сделанный из какого-то прозрачного материала, стекла или хрусталя. Череп светился изнутри. Источник света не был виден.

Плут создал автопортрет, когда Дюрер давно уже умер. Возможно, в схожести двух картин не было никакого вызова, никакой насмешки, просто так совпало. Художники изобразили себя на холстах одинакового размера, в одинаковых позах и ракурсах. Голос радиогида в наушниках не сообщил ничего о связи двух автопортретов. Прозрачный череп был назван очередной аллегорией, череп всегда символизировал неизбежность смерти. Прозрачность, по мнению некоторых искусствоведов, олицетворяла мечту Плута проникнуть в тайны человеческого мозга.

Соня почувствовала легкое головокружение и усталость. Она уже была в двух шагах от «*Misterium tremendum*», но прежде, чем уйти от автопортрета, прочитала латинскую надпись: «Я, Альфред Плут, 30 лет от роду, написал нетленными чернилами свой портрет».

— Плут был известен главным образом как врач и алхимик, — сообщил радиогид, — многие годы он изучал анатомию человека.

Более всего его интересовало строение мозга. Картина «Misterium tremendum» написана после путешествия по азиатским странам. Плут задумал создать анатомический атлас. Сохранилось несколько эскизов. Мозг человека в продольном и поперечном разрезах. Одна из зарисовок вдохновила Плута на создание картины-аллегии. Мозг, порождающий дурные, грешные помыслы. Они изображены художником в виде фантастических змееподобных тварей с уродливыми человеческими лицами.

Соня тяжело опустилась на бархатный диван в центре зала и закрыла глаза.

«Вот так. Аллегория. Наши маленькие друзья мозговые паразиты — всего лишь дурные, грешные помыслы. У них человеческие лица. Что ж, вполне логично. Босх тоже изображал грехи в виде причудливых чудовищ».

— С вами все в порядке? — произнес рядом с Соней по-немецки низкий мужской голос.

— Да, спасибо.

Она открыла глаза и прямо перед собой увидела давешнего соседа по купе, старого хиппи, который был похож на Альфреда Плута как брат-близнец.

Глава третья

Москва, 1918

«**Т**еперь у меня нет лаборатории. Все мои животные убиты. От приборов и препаратов, которые я собирал годами, осталась куча мусора. И я совсем ничего не чувствую. Мне все равно».

Ранним утром Михаил Владимирович сидел в своем кабинете, перебирал бумаги, бессмысленно глядел на записи в лиловой тетради, листал ветхие страницы старой полуистлевшей книжки Никиты Короба «Заметки об истории и нравах диких кочевников Вуду-Шамбалской губернии», кусал губы, чтобы не заплакать. У него было такое чувство, будто он бродит по руинам своего дома, роется в жалких обломках.

«Это всего лишь крысы, всего лишь склянки с препаратами. Стыдно и недостойно сейчас, когда погибает Россия, когда люди умирают десятками тысяч, жалеть о такой ерунде, — думал он и тут же возражал себе: — Нет, это вовсе не ерунда. Достоверность в науке доказывается повторяемостью феномена. Теперь я знаю точно: феномен повторяется. Но не понимаю, как и почему. Влияние препарата может спасти жизнь. Но может и убить. Кому жить, кому умереть, червь решает сам. Это его выбор. Смутно, интуитивно я чувствую, на чем основан выбор, однако боюсь, что не скоро сумею сформулировать это, даже для самого себя. Я вовсе не первый нашел загадочных древних паразитов. Возможно, знали египтяне, китайцы, инки. Впрочем, это лишь туманная гипотеза, из области фантастики. Интересно, что знал немец Альфред Плут? Он понял то, о чем я сейчас только догадываюсь? Почему он сумел изобразить их так подробно? Он изучал египетскую и китайскую алхимию, иудейскую каббалу. Он шифровал многие свои записи, опасаясь суда инквизиции и праздного любопытства профанов».

Вошла Таня, чмокнула отца в щеку, усадила Мишу к нему на колени.

— Подержи. Мне надо причесаться.

Михаил Владимирович обнял внука, уткнулся носом в теплую макушку. Мягкие светлые прядки защекотали ноздри. От Мишеньки пахло теплым молоком и гречишным медом. Он подергал деда за ухо и строго произнес:

— Хахай!

Михаил Владимирович открыл ящик, достал из жестяной коробки кусок твердого, как камень, колотого сахару. Мишенька оглядел острый блестящий осколок, полизал, взял очки деда, водрузил ему на нос, ткнул липким пальчиком в раскрытую книгу и приказал басом:

— Титяй!

Это обозначало: «Читай!»

У Миши недавно появилась какая-то особенная страсть к чтению вслух. Он с удовольствием слушал все, что угодно: письма Пушкина, «Сахалинский дневник» Чехова. Учебники биологии, анатомии, хирургии. Сенеку, Канта, главы из истории Карамзина и Костомарова, статьи Бердяева и Соловьева.

— Миша, это совсем неинтересно, — попробовал возразить Михаил Владимирович, — давай лучше возьмем сказки Андерсена.

Но Мишенька возражений не терпел. Он требовал, чтобы дед читал вслух именно ту книжку, которая сейчас лежала перед ним раскрытая на столе. Вздохнув, профессор начал читать:

«Хозяин мой был знатный шамбал древнего рода, звали его Аким. В юрте стоял большой открытый сундук. Аким выдавал замуж старшую дочь, и мне, дорогому гостю, была оказана особая честь — полюбоваться приданым. Среди шелковых халатов, бирюзовых монист и серег внимание мое привлекла шкатулка черного дерева, отделанная серебром, вещица для здешних мест весьма необычная. Внутри лежало несколько золотых слитков размером не более лесного ореха и круглый предмет, бережно завернутый в бархатный лоскуток. Аким с важным видом пропел возвышенную хвалу великому Сонорху и только затем развернул, повторяя гордо и восторженно: алимаза, алимаза. В самом деле, передо мной

был редкой красоты алмаз, не менее двадцати карат, отшлифованный с удивительным искусством.

Никогда прежде не доводилось мне видеть такой странной формы, какую придал этому сокровищу неведомый мастер. Камень не имел граней, он был идеально гладким и напоминал двояковыпуклую линзу.

Забавляясь, как дитя, мой Аким придвинул лампаду, поднес камень к одному из слитков. Алмаз давал огромное увеличение, мне удалось разглядеть на слитке крошечное клеймо и разобрать латинскую надпись: «Альфред Плут».

Мишенька слушал очень внимательно, иногда давал деду лизнуть липкий сахарный осколок. Михаил Владимирович оторвал глаза от книги и взглянул на Таню. Она стояла спиной к ним, зажав во рту шпильки, расчесывала волосы, но было видно, что она тоже слушает.

— Ну! Что скажешь? — тихо спросил профессор.

— Ты мне это уже трижды читал, — промычала Таня, не разжимая губ.

— Да, но тогда мы еще понятия не имели, кто такой Альфред Плут. Он изобразил моих паразитов так подробно потому, что видел их еще лучше, чем я. Эта «алимаза» была частью мощного увеличительного прибора.

— Каким образом он мог их видеть? — Таня воткнула шпильки в волосы, резко повернулась к отцу. — Левенгук изготовил двояковыпуклые короткофокусные линзы в 1673 году. До него это не удавалось никому, твоя «алимаза» всего лишь большая лупа, но еще не микроскоп.

Миша заерзал на коленях у деда, захныкал, потребовал:

— Титяй!

— Да, да, сейчас будем читать дальше, — сказал профессор и несколько раз, как заклинание, повторил: — «Алимаза».

— Дед! Титяй! — Миша выпятил нижнюю губу, сдвинул брови, глаза его мгновенно налились слезами.

— Миша, дай нам поговорить, дед не граммофон, он живой, он не может читать бесконечно, — строго сказала Таня и взяла ребенка на руки. — Пойдем к няне, она тебе кашку сварила.

Миша не хотел к няне, он громко заревел, но Таня пошептала ему что-то на ушко, пощекотала животик, и рев перешел в смех.

Михаил Владимирович остался один в кабинете. Каждый раз, когда у него забирали внука, сердце его в первое мгновение больно сжималось. Его мучило даже не предчувствие, а точное, беспощадное знание скорого будущего. Будет так, и лучше не лгать себе. Однажды придется расстаться с детьми и внуком навсегда. Таня, Андрюша, Миша уедут из России, и чтобы они уехали, выжили, он должен остаться.

Запах детских волос, теплая тяжесть на коленях, липкие от сахара пальчики, ясные внимательные глаза, все это только что было — и вот нет.

«Перестань, довольно! Они здесь, рядом, еще ничего не произошло. Не умирай раньше смерти. Миша в кухне ест манку на воде, с каплей порошкового молока, Андрюша ушел в школу, Таня сейчас вернется».

— Древние знали и умели не меньше нашего. Египтяне делали сложнейшие операции на сетчатке глаза. Без увеличительного прибора это вряд ли возможно, — сказал он, когда Таня вернулась.

Ему казалось, что голос его звучит спокойно, он не замечал, как дрожат у него руки.

— При чем здесь египтяне? Если не ошибаюсь, у Никиты Короба речь идет о диких кочевниках Вуду-Шамбальской губернии.

Таня присела на подлокотник его кресла, попыталась заглянуть ему в глаза. Но он отвернулся, стиснул пальцы, чтобы скрыть дрожь, и продолжал говорить, быстро, с легкой одышкой:

— Крысы-доноры из подвала дома бедняги Короба. Имя Альфреда Плура есть в его записках. Паразиты оттуда, из степи. Там разгадка. Я могу потратить годы, экспериментируя на крысах, и все равно ничего не пойму, пока не побываю в этом Богом забытом месте.

— Ты прямо сейчас намерен отправиться туда?

Таня смотрела на отца с тревогой и жалостью. Он сидел сторбившись, подперев лоб ладонью. Закрыв глаза и прикусил нижнюю губу. Она не могла понять, что с ним происходит. Прежде он относился к своему открытию спокойно, трезво, слегка скептически.

Он вообще предпочитал не называть это открытием. Несколько удачных опытов — не более. Но вдруг, после гибели подопытных животных и случайной находки — репродукции картины Плута «Misterium tremendum», его как будто подменили. Он стал другим человеком. Куда делись его хладнокровие, осторожность?

«Это от недоедания и нервного перенапряжения, — утешалась Таня, — мой мудрый, мой надежный и разумный папа не мог помешаться на проклятых тварях. Именно сейчас, когда все так страшно, сложно, мерзко, он не мог помешаться на тварях. Господи, только не он, только не сейчас!»

— Папочка, успокойся, пожалуйста. Приди в себя. Девятый час. Нам пора в лазарет.

— Да, Танечка. Все нормально. Я спокоен. Золото с клеймом Альфреда Плута алхимическое. Я нашел кое-какие сведения об этом Плуте. Он был алхимиком, он путешествовал и по Египту, и по России.

— Папа, Господь с тобой! Алхимическое золото — миф. С каких пор ты стал верить в эти сказки?

— Да, золото, может быть, и миф. Но Плут видел наших тварей, он нарисовал их. Он побывал там, в степи, надеюсь, это ты не считаешь сказкой? Вот, послушай.

«Я несколько раз повторил вслух это странное имя — Альфред Плут. Но хозяин мой уверенно заявил, что никогда о таком человеке не слышал. Алимаза и слитки достались ему от прадеда.

Отец Акима несколько лет назад был сброшен взбесившимся жеребцом и разбился насмерть. Деда убило молнией в открытой степи. Зато прадед по имени Дассам все еще жил и здоровствовал. Я нашел его в соседнем селении, в бедной кибитке. Там на циновке лежала хворая старуха. Дассам занимался врачеванием, втирал в ее раздутые ноги какую-то пахучую мазь.

Передо мной был древний старик, иссохший, сморщенный, однако глаза яркие, молодые, с живым блеском. Голова без всякой растительности, на темени большой крестообразный шрам.

— Сколько тебе лет? — спросил я на местном наречии.

— Если я скажу правду, ты не поверишь. А лгать грех, — ответил старик по-немецки.

Он говорил на этом языке чисто и грамотно, как на родном. Кроме немецкого, он знал русский, латынь, греческий. В большом сундуке он хранил древние книги, свитки, рукописи.

Я провел в его кибитке двое суток. Дассам принимал больных, лечил мазями, настойками, шептал непонятные заклинания, водил руками над разными частями тела, иногда громко кричал, словно пугал и гнал злых духов. Лечение его почти всегда помогало. Благодарные больные приносили щедрое вознаграждение, но он отказывался от денег. Брал только необходимое — еду, одежду.

Ел мало, трапезу делил со мной. Обед наш состоял из свежего кобыльего молока, лепешек с местным сыром и какой-то степной травы, по запаху и вкусу напоминавшей нашу петрушку.

Дассам был приветлив, гостеприимен, однако ни подарками, ни лестью, ни мольбами не удалось мне развязать ему язык.

— Сколько тебе лет? Кто учил тебя искусству врачевания? Откуда этот шрам на голове? Кто такой Альфред Плут? Ты знал его? Он подарил тебе большой алмаз и золотые слитки?

Ни одного ответа я так и не услышал. Когда я почти потерял терпение и стал слишком настойчив, он печально покачал своей лысой головой и произнес:

— Зачем тебе это? Учись радоваться тому, что имеешь. Во многом знании много печали.

Вскоре явился за мной мой прежний хозяин Аким и увез к себе. Я непременно должен был присутствовать на свадьбе его дочери как почетный гость».

— Ну и что? — нетерпеливо перебила Таня. — Твой Плут здесь больше не упоминается. Старик Дассам ничего, ни слова о нем не говорит.

Михаил Владимирович закрыл ветхую, рассыпающуюся книжку Никиты Короба.

— Было бы странно, если бы говорил. Тут не слова важны, а факты. Крестообразный шрам на темени у старика. Они вводили цисты непосредственно в мозг, в эпифиз. Для этого требовалась трепанация, иных способов они не знали, и, вероятно, никто не решался на повторную операцию. А она необходима. Старение замедляется, но все равно происходит. Они не знали шприцов, игл, внутривенных вливаний.

— Да. Но теперь все это есть, и каждый может стать бессмертным, — усмехнулась Таня.

— Не каждый, — Михаил Владимирович медленно, тяжело поднялся. — Только избранные. А право выбора всегда останется за тварями, они никому его не уступят.

— Даже тебе?

— Никому, — повторил Михаил Владимирович и помотал головой, — но я хочу угадать их предпочтения, понять принцип. Ладно. Хватит об этом. Который теперь час? Ты сцедила молоко для Миши?

— Давно уж. Если мы выйдем сию минуту, у нас есть шанс не опоздать в лазарет.

— Сначала надо позавтракать. Ничего не случится, если мы опоздаем.

В кухне было пусто и мрачно. Михаил Владимирович разлил по чашкам еще теплый желудевый кофе, высыпал на тарелку горсть серых сухарей, достал из глубины буфета маленький кусок сала, развернул тряпицу.

— Мне не нужно, я сало терпеть не могу, — сказала Таня, — двух сухариков довольно.

— Перестань капризничать, — Михаил Владимирович отрезал несколько тонких, прозрачных ломтиков. — Тебе жиры необходимы.

— Андрюша придет голодный, ему останется совсем мало.

— Ничего, не волнуйся, я раздобуду еще. Ешь.

Таня к салу не притронулась, медленно жевала сухарь, размоченный в желудевом кофе. Несколько минут молчали.

— В степь я все-таки отправлюсь, — вдруг сказал Михаил Владимирович, — конечно, лучше бы сначала в Германию, порыться в библиотеках, поискать следы Плуто. Он страшно много всего написал, он создал иллюстрированный анатомический атлас. Особенно тщательно изучал и рисовал головной мозг.

— Нет, папочка, в Германию тебя, пожалуй, не выпустят. А вот в степь отправить могут. Я слышала, там сейчас эпидемия холеры, врачей не хватает.

— В степь, к холере — это неплохая идея, — произнес низкий хриловатый голос из темноты коридора.

Михаил Владимирович сидел лицом к двери, Таня — спиной. Она открыла рот, чтобы ответить, но не успела. Отец протянул руку и положил ей в рот кусок колотого сахара. В проеме стояла товарищ Евгения в огненном пеньюаре и смеялась, запрокинув белокурую голову.

— Доброе утро, — сказал профессор.

Товарищ Евгения томно повела плечами и проследовала к своему примусу.

* * *

Гамбург, 2007

Случайный попутчик Сони теперь сидел рядом с ней на диване в центре музейного зала, перед картиной Альфреда Плута «*Misterium tremendum*».

— Простите, если не ошибаюсь, мы с вами вместе ехали в поезде из Зюльта? — спросил он.

— Да, наверное, — кивнула Соня.

— Теперь я понял, почему вы так внимательно меня разглядывали, — он простодушно рассмеялся, — в поезде вы листали каталог Пинакотеки и заметили, что я похож на Альфреда Плута.

— Вы намного симпатичней Плута, — вежливо улыбнулась Соня, — простите, что пялилась на вас.

Иллюзия абсолютного сходства, правда, исчезла. Свет падал иначе, улыбка меняла лицо.

— Я похож на него. Впервые мне сказала об этом одна очень красивая девушка, давно, еще в университете. Я обиделся ужасно. Она мне так нравилась и вдруг сравнила меня с ним. Нет, чтобы с Дюрером! Сначала я переживал, остриг волосы, избавился от бородки и усов, даже брови подбрил. Но потом, когда узнал его лучше, стал гордиться этим сходством. В итоге именно благодаря Плуту я нашел свое призвание.

— Живопись? — спросила Соня с кислой улыбкой.

— Не угадали. История медицины. Впрочем, в эпоху Возрождения одно без другого не существовало. Художники препариро-

вали трупы вместе с врачами, врачи создавали шедевры живописи, иллюстрируя свои научные труды. Вспомните хотя бы Леонардо, его анатомические рисунки до сих пор служат наглядными пособиями для медиков. Или вот «Misterium tremendum» Плуто. Кстати, что вы думаете об этой картине?

— Название говорит само за себя. В ней нет красоты, но есть тайна.

— Вы остановились в этом зале именно ради тайны?

— Нет. Просто устала.

— О, простите, что пристаю к вам с вопросами. Но дело в том, что мы с вами уже немного знакомы. Впрочем, вы пока не знаете об этом.

— Действительно, не знаю.

— Зюльт маленький остров. Ваш дед господин Данилофф личность известная, его показывали по телевизору, он дружит с фрау Барбарой, хозяйкой книжного магазина. Я ее племянник. Кстати, меня зовут Фриц Радел. А вы Софи.

— Очень приятно. — Соня в очередной раз улыбнулась, хотя на самом деле ничего приятного в этом неожиданном знакомстве не находила.

Фриц Радел пожал ей руку, крепко, от души. Она чуть не вскрикнула. Пальцы заныли. Она уже успела усвоить, что здесь, в Германии, так принято — крепкие, до боли, рукопожатия, улыбки до ушей.

«Господи, ну что ему от меня нужно? Терпеть не могу таких жизнерадостных, энергичных, высокодуховных стареющих юношей. И вообще, я ни с кем не собиралась знакомиться. С меня довольно коллег по лаборатории. Интересно, если он сразу узнал меня, почему не заговорил в поезде?»

— Я хотел заговорить с вами в поезде, но вы так увлеченно читали, а я записал на плеер новый альбом моей любимой группы «Криэйшн», заслушался, не мог оторваться. Но когда увидел вас тут, да еще перед картинами моего любимого Альфреда Плуто, решил, что это судьба.

Да уж, судьба. Дед предупреждал Соню, что Зюльт-Ост не Москва, не Берлин. Маленький городок на маленьком острове.

Все друг друга знают, принято общаться, здороваться на улице, болтать при встрече, как сто и двести лет назад. Телевизор, Интернет, наплывы туристов ничего на острове не меняют. Никуда не денешься от этого Фрица. К тому же он наверняка может рассказать о Плуते. Он занимается историей медицины, если не врет, конечно. Хотя зачем бы ему врать?

— Послушайте, Софи, вы не хотите перекусить? Здесь неплохое кафе внизу.

В кафе орала музыка. Пока шли к столику, Радел приплясывал, подергивал плечами. Лохматые брови сложились домиком, лицо приобрело томно-жалобное выражение. Он мычал, тихонько подпевал и взял Соню за локоть, как будто приглашая поплясать вместе. Соня с тоской подумала, что сейчас он накачается пивом, станет еще энергичней, разговорчивей и уж точно не отвяжется, придется вместе с ним возвращаться в Зюльт.

Радел заказал себе воду без газа, свежий морковный сок со сливками. Он не пил спиртного, не ел мяса, не курил. Долго изучал отдельное меню, где была вегетарианская еда, потом полчаса, наверное, обсуждал с официанткой какие-то особенные блюда из ростков пшеницы и дикого риса. Соня выбрала отбивную и салат.

— Подождите, Фриц, мне надо взять сумку в камере хранения, — спохватилась она, когда отошла официантка, — я оставила там деньги, сигареты, телефон.

Оказавшись в гардеробе, возле ячейки, она подумала, не бежать ли? Сквозь стеклянную стену просторного фойе светило солнце. День был яркий, теплый, почти весенний. Она мечтала погулять по Мюнхену в одиночестве, молча посидеть на лавочке в сквере, подставив лицо солнцу, отдохнуть, подумать. Слишком много всего произошло с ней в последнее время.

Она достала номерок, чтобы взять свою куртку и тихо улизнуть, потопталась возле гардероба, но все-таки решила, что это нехорошо, некрасиво. Заказ уже сделан. К тому же она действительно проголодалась.

Когда она вернулась, музыка орала еще громче. За столиком, рядом с Фрицем, сидела женщина лет сорока, крупная, широкоплечая, с пышными рыжими волосами и круглым, грубым, крас-

новатым лицом. Она встретила Соню такой приветливой улыбкой, словно они дружили с детства. Крикнула Соне на ухо, что ее зовут Гудрун. Руку пожала еще крепче, чем Фриц, и больше не сказала ни слова. Поддержалась в такт музыке, покивала головой, поиграла бровями, лукаво глядя на Соню, всем своим видом показывая, какая классная музыка, и вообще, как все в жизни здорово, весело. Потом встала и удалилась, слегка приплясывая.

«Милые ребята, — подумала Соня, — живые и непосредственные».

В стереосистеме сменили диск, заиграл спокойный старый джаз. Фриц перестал наконец подергиваться и задумчиво произнес:

— Серию анатомических зарисовок мозга Плут создал после того, как вернулся из России.

— Да, я читала его биографию в каталоге, — кивнула Соня и закурила. — Он целый год прожил в Москве, служил придворным лекарем у Ивана Грозного.

Официантка принесла еду. Некоторое время ели молча. На тарелке Фрица лежали разноцветные кучки риса, шпината, красных и желтых бобов. Он жевал медленно и вдумчиво. Отбивная, которую подали Соне, оказалась жесткой, зато салат был вполне съедобным.

— Плут побывал не только в Москве, — произнес Фриц, когда от разноцветных кучек ничего не осталось. — Он объездил всю восточную часть России и много времени провел в диких степях. При Иване Грозном эти земли как раз стали частью Русского государства. Потом — губернией Российской империи, потом одной из республик СССР. Сейчас это автономный округ. Там много нефти, конные заводы. Только я никак не могу запомнить название столицы. — Он зацелкал пальцами, сморщился.

— Вуду-Шамбальск, — выпалила Соня и чуть не прикусила язык.

Взгляд из-под косматых бровей стал жестким, каким-то слишком внимательным. Возникло странное, неприятное чувство, будто она ляпнула лишнее.

Впрочем, это быстро прошло. Фриц глотнул воды, глаза его смягчились, рот растянулся в простодушной улыбке.

Глава четвертая

Москва, 1918

Вождь был болен давно и серьезно. Еще в эмиграции он постоянно обращался к врачам, в основном к невропатологам, лечился на разных европейских курортах, но, кажется, без толку. Не было точного диагноза, никто не мог избавить его от приступов головной боли, мучительной бессонницы, неврастенических припадков. Он боялся сильных лекарств, упорно скрывал свои недуги от соратников и всячески поощрял трогательный миф, будто у Ильича железное здоровье, он самоотверженно трудится, не щадит себя ради победы мировой революции, сгорает на работе, поэтому часто выглядит усталым и больным.

Стол в его кабинете был завален бумагами, книгами. Трезвонили телефоны, стучали пишущие машинки, посетители толпились в приемной, секретари стенографировали тексты выступлений и статей. Большая круглая голова вождя функционировала как автомат. Казалось, вокруг все кипит, бурлит, происходит невероятное, фантастическое строительство новой жизни.

Когда Федор Агапкин впервые вошел в кабинет Ленина в бывшем здании Сената, он услышал:

— Партия не пансион для благородных девиц! Нельзя к оценке партийных работников подходить с узенькой меркой мещанской морали. Иной мерзавец может быть именно тем и полезен, что он мерзавец!

Вождь говорил это какому-то пожилому грустному человеку в черной толстовке и смазных сапогах. Человек сидел на краешке стула сгорбившись, вжав седую голову в плечи. Старый большевик, вечный каторжанин, он явился к вождю жаловаться, просить. Вождь расхаживал по кабинету, энергично разворачивался на каблуках, выбрасывал вперед правую руку, жестикулировал, гри-

масничал, сильно картавил. Брюки были коротковаты ему. Виднелись поношенные ботинки маленького, почти женского размера, бежевые хлопчатые носки. Во всей его коренастой, коротконогой фигуре было нечто шутовское, забавное.

— Товарищ Агапкин! — картаво выкрикнул вождь и развернулся лицом к Федору. — Заходите, не стесняйтесь. Рад, весьма рад познакомиться.

У него было крепкое рукопожатие, обаятельная живая улыбка с ямками на щеках. Он окинул Федора оценивающим веселым взглядом. Федор почувствовал легкий запах нафталина от его костюма, заметил отечность лица, красный нездоровый оттенок кожи.

— Товарищ Агапкин, сразу дам вам порученьице! — сообщил он вполголоса, интимно и, подхватив Федора под локоть, повел к маленькому секретарскому столику у окна. — Мне товарищи доктора разных лекарств навывписывали, очень уж много всего. Вы, батенька, гляньте своим профессиональным глазом, что там полезно, а что нет, что с чем сочетается, какие противопоказания и побочные эффекты.

— Владимир Ильич, так как же по моему делу, как? — подал робкий голос старый большевик.

Ленин досадливо сморщился, почесал плоскую переносицу, сел за стол, чиркнул что-то на четвертушке бумаги, протянул просителю.

— К товарищу Шмидту! Он комиссар общественных работ, пусть он разбирается. Идите к Шмидту!

Большевик прижал к груди ленинскую записку, попятился задом к двери, слегка приседая. У него подкашивались колени.

— Слюнтяй, — сказал Ленин, когда проситель исчез, — слякоть, меньшевиствующая слизь. Ну, да черт с ним. Шмидт с ним, да-с! Видите, сколько понаписали! — Он весело подмигнул. — Если все это пить, так и помереть недолго. Бром ни черта не помогает. Все равно не сплю, а на вкус мерзость. Йод, понятно, хорошо. Хинин. Зачем он мне? Его дают при малярии. Разве есть у меня малярия?

— Вряд ли, — слабо улыбнулся Агапкин и попытался объяснить, что без серьезного осмотра, без диагноза он не может отменять предписания своих коллег.

Но вождь его уже не слушал. Он уселся за стол и, согнувшись, быстро строчил что-то на клочке бумаги. Федор подождал немного, еще раз просмотрел чужие рецепты, наконец решился окликнуть вождя:

— Владимир Ильич!

— Вот! — Ленин протянул ему сложенный вчетверо исписанный клочок. — Передайте Бокию лично, из рук в руки.

Федор хотел спросить, как он это сделает, если Бокий уже в Петрограде, но дверь открылась, вошла высокая широкоплечая женщина в узкой серой юбке и белой блузке, с толстой стопкой бумаг.

— А насчет лекарств разберитесь, товарищ Агапкин, хорошо разберитесь, — резко выкрикнул вождь.

По счастью, Белкин был еще в Москве. Они встретились вечером в маленьком подвальном трактире на Мясницкой. Мастер взял записку, положил ее в нагрудный карман.

— Но он велел лично, из рук в руки, — прошептал Агапкин по-немецки, — может быть, мне надо ехать самому?

— Ешьте, Дисциплина, жареная колбаса здесь исключительная, нигде такой не найдете, — ответил Мастер по-русски и отправил в рот изрядный кусок.

Колбаса правда была исключительная. Ее жарили не на касторке, а на свином сале. К ней подавали квашеную капусту и толстые ломти настоящего ржаного хлеба.

— Скоро таких мест в Москве не останется, — сказал Мастер, когда вышли на улицу, — в Питере их уже нет. Записку прочитали?

— Чудовищный почерк. Разобрал только одно слово, вернее фамилию. Воло...

— Разобрали и сразу забыли, — перебил Мастер, сверкнув в темноте сердитым глазом.

Тем же вечером Мастер уехал в Питер.

Вождь не задал ни единого вопроса о записке, как будто ее не было вовсе. Фамилию, которую Федор сумел разобрать, он честно старался забыть и все-таки вздрогнул и побледнел, когда узнал, что в Питере убит Володарский.

После обеда в кафе Пинакотеки Фриц Радел так и не оставил Соню ни на минуту, вместе с ней гулял по Мюнхену, приставал со своими дурацкими советами, легко перешел на ты и вел себя так, словно они знакомы сто лет и дружат семьями. Соня была слишком хорошо воспитана, чтобы послать его подальше, а вежливых намеков он не понимал.

Ей надо было кое-что купить. В Зюльте она почти не оставалась одна, дед провожал ее и встречал, по будням она с утра до вечера не вылезала из лаборатории, а по выходным ни один магазин в маленьком Зюльте не работал.

Соня бессмысленно бродила по пешеходной зоне, мимо ярких витрин. До закрытия оставалось меньше часа.

— Фриц, я найду в этот универмаг, может быть, ты подождешь меня в кафе?

— Что ты собираешься покупать?

— Какая тебе разница?

— Это очень плохой магазин, здесь все дорого и некачественно. Зачем выбрасывать деньги на ветер? Вон там, через пятьдесят метров, есть хороший, пойдём, я тебя отведу.

Он подробно объяснял ей, где выгодные скидки, а где одна видимость скидок, у кого из производителей лучшее качество. Он ходил вместе с ней по бельевому отделу большого универмага, уверял, что без его помощи она только напрасно потратит деньги и испортит себе настроение. Никакие просьбы, уговоры, хитрости на него не действовали. Соне надоело возражать и отбиваться от дружеской горячей заботы. Нижнее белье, колготки, шампунь, крем, гигиенические прокладки она выбирала и бросала в корзину под разумные комментарии Радела. Он проявил удивительные познания в этой интимной области.

Он тупо, упорно шел за Соней, и только в кабинке женского туалета ей удалось наконец остаться одной. Пакет с ее покупками он сложил в свой вместительный рюкзак, объяснив, что ее сумка слишком мала, а таскать пакет отдельно неудобно, к тому же есть риск забыть где-нибудь.

Обо всем у него имелось собственное мнение, с одинаковой дотошностью и уверенностью он рассуждал о вреде синтетического белья, самосожжении лидеров еретической секты катаров, качестве баварского пива, штрафах за неубранные собачьи экскременты, вреде антибиотиков, экспансии дешевых китайских товаров, имперской архитектуре Третьего рейха.

— Вот она, та славная пивная, — сообщил он и остановился напротив входа в обычный ресторан в старинном баварском стиле. — Если тебе интересно, можем заглянуть.

— Нет, — сказала Соня, — мне неинтересно. Я не планировала экскурсию по памятным гитлеровским местам.

— Не планировала? Хорошо. Значит, следующую поездку в Мюнхен мы посвятим именно такой экскурсии. Ты должна знать, что наш Третий рейх зародился у вас, в России. Идея арийской расы принадлежит великой русской теософке Елене Блаватской. Она же заново открыла древнюю свастику, возродила привлекательность этого таинственного символа. До Блаватской понятие «арийцы» относилось только к группе языков. Еще во время Первой мировой войны свастика рисовалась на немецких самолетах, была чем-то вроде модного талисмана. Броши, серьги, перстни со свастикой продаются вот здесь, в этом маленьком антикварном магазине. Хочешь зайти?

— Зачем?

— Но ведь это так интересно! Твой дед разве не служил в СС? Ты обиделась? Перестань. Мой дед тоже там служил. Не могу сказать, что горжусь этим, но и не стыжусь, честное слово, не стыжусь.

У Сони зазвонил мобильный, она обрадовалась, что можно хотя бы на время переключиться на другого собеседника.

— Привет, это Иван, — услышала она знакомый низкий голос, — где вы? Как у вас дела?

— Я в Мюнхене.

— Решили немного отдохнуть?

— Не совсем. Но и это тоже. Здесь замечательная Пинакотека, — сказала Соня.

— У вас что-то не так?

Иван Анатольевич Зубов, отставной чекист, мгновенно уловил напряжение в ее голосе.

— У меня все в порядке, — сказала Соня, — я гуляю по городу. Скоро поеду домой. Я не одна сейчас. Объясню позже.

Фриц Радел стоял совсем близко, с преувеличенным вниманием разглядывал цветные граффити на бетонном заборе. Соня видела его некрасивый грубый профиль, оттопыренное ухо торчало из-под длинных прядей, как локатор.

— Попробуйте скинуть мне информацию прямо сейчас, — быстро произнес Зубов, — завтра я к вам вылетаю.

Попрощавшись с Иваном Анатольевичем, Соня тут же отправила ему послание по СМС. «Фриц Радел. Живет в Зюльте. Прилип как банный лист».

Спрятав телефон, она посмотрела на Радела, приветливо улыбнулась и произнесла по-русски:

— Как же ты мне надоел, умный козлик. Как я от тебя устала. Ты кофе не хочешь выпить?

— Кофи? — переспросил он, слегка нахмурившись. — Я понял только кофи.

«Ты понял все, — вздохнула про себя Соня, — ну и черт с тобой. Приедет Зубов, он разберется».

Телефон запищал. Соня достала его, прочитала короткий ответ от Зубова. Всего одно слово: «фото».

«Имя может быть блефом. Чтобы понять и проверить, нужен снимок. Мой умный телефончик, подарок Зубова, способен на многое», — подумала Соня и сказала по-немецки, все с той же ласковой улыбкой:

— Давай зайдём в это кафе. Впрочем, нет, подожди. Сначала я хочу снять вон тот собор. Он удивительно красивый.

Она включила камеру. На двух из пяти кадров ей удалось запечатлеть Радела, анфас и в профиль. Он заметил, лицо его мгновенно изменилось, налилось кровью, губы сжались, зрачки сузились до точек. Соне показалось, он не просто ударит ее сейчас. Он ее убьет.

— Тебе нехорошо? — сочувственно спросила она.

— Дай я посмотрю, что получилось, — он протянул руку, чтобы отнять у нее мобильник.

— Да, конечно, я покажу, если тебе интересно, правда, я никудышный фотограф, но собор такой красивый, я должна послать маме, она очень любит готику. — Соня ловко отскочила, спрятавшись за спину какой-то толстой фрау, успела очень быстро отправить снимки на номер Зубова.

Толстая фрау остановилась и прикуривала на ветру. Она сыграла роль защитного щита. Радел не мог ее обойти, не задев, не толкнув, а привлекать внимание посторонних он явно не собирался. Соня сохранила снимки в специальном файле и отключила телефон. Фрау наконец прикурила и двинулась вперед. Соня оказалась лицом к лицу с Раделом. Надо отдать ему должное, он быстро взял себя в руки.

— Можно я посмотрю, как получился собор в твоём аппарате? — спросил он спокойно и вежливо.

— Ужасно, — сказала Соня и покачала головой, — ничего вообще не получилось. У меня села батарейка.

* * *

Москва, 2007

«А ведь я никогда не верил в интуицию, — подумал Иван Анатольевич Зубов, разглядывая картинки, присланные Соней, — никогда не верил, особенно в чужую».

Он сидел в квартире на Брестской, у ног его тихо порывкивал и ворчал черный пудель. Пуделя звали Адам. Он не любил Зубова. Всякий раз, когда Иван Анатольевич являлся сюда, Адам поднимал хриплый возмущенный лай и потом не отходил от гостя ни на секунду, следил за ним воспаленным слезящимся глазом, словно опасался, что он стащит что-то или обидит обожаемого хозяина.

Кто из них был старше, хозяин или пес, неизвестно. Оба давно пережили все возможные сроки человеческой и собачьей жизни. У хозяина были парализованы ноги. Пес тяжело волочил задние лапы, но еще кое-как ковылял по квартире. На прогулку его выносил на руках дважды в день капитан ФСБ, служивший постоянной сиделкой при хозяине.

— Ну! — произнес хозяин, хмуро глядя на Зубова. — Покажи, что она прислала.

— Подожди, я перегоню в компьютер, на большой экран.

— Перегонишь потом. Покажи.

— Слишком мелко. Потерпи несколько минут.

— Ничего, у меня отличное зрение. — Старик улыбнулся, оскалил голубоватые фарфоровые зубы. — Это я заставил тебя позвонить ей. Ты не хотел. Ты глупый и бесчувственный чекушник. Дай мне телефон сию минуту.

Снизу послышался грозный рык. Адам готов был вцепиться подозрительному гостю в ногу.

— Адам тебя укусит, и правильно сделает, — сказал хозяин.

Зубов тяжело вздохнул и протянул старику телефон.

— Смотри, ничего не нажимай, а то нечаянно сотрешь снимки, — предупредил он.

— Без тебя разберусь, — старик близко поднес к глазам маленький экранчик, долго разглядывал, хмурился, жевал губами.

— Все? Налюбовался? — спросил Зубов.

Старик, не обращая на него внимания, принялся быстро нажимать кнопки на мобильнике.

— Что ты делаешь? Прекрати! Это мой телефон! — Зубов вскочил, подошел к старику, встал так, чтобы видеть экран.

«Не выходи из дома. Не ходи в лабораторию!» — прочитал он послание, которое старик отправил Соне.

— Зачем ты ее пугаешь? Что значит — не выходи из дома? Она сейчас в Мюнхене. Сначала ей надо до дома доехать.

— Она доедет. Но потом ей выходить нельзя. А ты, чекушник, срочно лети к ней.

— Я и так лечу завтра.

— Лети и забирай ее в Москву!

— Почему?

— Слушай, что я говорю! Забирай!

— Да в чем дело? Ты можешь объяснить по-человечески? — рассердился Зубов.

— Звони Петру. Пусть он приедет. Объяснять дважды, сначала тебе, потом ему, у меня нет сил.

Москва, 1918

Таня и Михаил Владимирович шли пешком, по знакомым, но теперь совершенно чужим улицам, мимо длинных мрачных очередей, разбитых домов. Под ногами шуршали листовки, клочья газет, подсолнечная шелуха.

— Я правда был похож на сумасшедшего? — тихо спросил Михаил Владимирович.

— Ну, конечно, я слегка преувеличила. — Таня улыбнулась и взяла отца под руку. — Просто ты, папочка, последняя моя надежда, возможно, на всю Россию ты сейчас единственный здравомыслящий человек, и когда у тебя лихорадочно блестят глаза, дрожат руки, срывается голос, мне страшно, земля уходит из-под ног. Ну их к черту, этих тварей. Ой! — Таня вдруг резко качнулась, нога провалилась в открытый люк канализации.

Михаил Владимирович едва успел удержать ее.

— Папа! Подожди, у меня каблук оторвался.

Она стояла на одной ноге, опираясь на отцовскую руку, смотрела на старый, залатанный ботинок. На месте каблука торчали гвозди.

— Беда, — Михаил Владимирович покачал головой, — других ботинок у тебя нет.

— Буду ходить босиком. Вполне в духе времени. — Таня заковыляла, опираясь на его руку.

— Что-нибудь придумаем, — сказал Михаил Владимирович. — У фельдшера Сысоева двоюродный брат служит в Чеквалапе.

— Где?

— Есть такая Чрезвычайная комиссия по заготовке и распределению валенок и лаптей. Чеквалап. Очень серьезная организация.

Кое-как дошли до госпиталя. Там пожилая санитарка одолжила Тане самодельные чуни, сшитые из рукавов солдатской шинели. Они сваливались с ног, Таня ступила и чуть не упала на грязный пол.

— Подвяжи у щиколоток, — посоветовала санитарка.

Таня оторвала тесемки от старого халата, морщась, стянула узлы на жестких чунях, убрала волосы под косынку. Халат висел на ней мешком. Несколько секунд Михаил Владимирович смотрел на нее и вдруг спросил:

— Интересно, сколько ты сейчас весишь?

— Не знаю. Какая разница? Мне все равно.

«Ей все равно. Еще немного, и у нее начнется дистрофия, — думал Михаил Владимирович во время обхода. — Спит не более пяти часов в сутки. Работает в госпитале. Занятий в университете нет, но она упорно сидит за учебниками, ночами, при ужасном свете. Зрение портит. Почти ничего не ест и при этом кормит Мишу, умудряется нацедить молока для него на целый день. Она не щадит себя совершенно, как будто нарочно сжигает. Почему я с этим мирюсь?»

Палаты были заполнены сыпнотифозными. Они лежали и в коридорах, и в хирургическом отделении. Мест не хватало. Прачечная давно не работала, не было мыла, щелока, горячей воды. Дрова сэкономили с весны, чтобы как-то обогреться зимой. Больные лежали в своем белье, в одежде, все это кишело тифозными вшами. Врачи, сестры, сиделки заражались часто. Перед обходами пропитывали рукава и воротники халатов керосином, но это не спасало.

Сыпнотифозные в кризисе, в горячке, становились буйными. Их мучили галлюцинации, они ловили чертиков, метались, вскакивали. За неимением успокоительных их привязывали к кроватям. Больные кричали, выли, пели. В палате стоял такой шум, что невозможно было разговаривать. Чтобы дать указания двум фельдшерицам, Михаил Владимирович вышел с ними в коридор.

— Почему вы не записываете? Надеетесь на свою память? — раздраженно спросил он.

— Так лекарств нет. Чего ж записывать?

Михаил Владимирович отправился к главному врачу. Это был молодой человек по фамилии Смирнов, когда-то окончивший полтора курса на химическом факультете, большевик с долгим партийным стажем. Пять лет царской каторги за плечами. Надежные связи где-то на самом верху, то ли в ЧК, то ли в ЦК.

Из всех кабинетов Смирнов выбрал для себя тот, что когда-то принадлежал Михаилу Владимировичу. Там осталось все, как прежде, только на месте киота с образом Пантелимона Целителя висели портреты Ленина и Троцкого. Да еще печка стояла новая, жаркая. Смирнов так любил тепло и запах дыма, что подтапливал даже летом, не заботясь об экономии дров.

В кабинете хранилась часть личной библиотеки Михаила Владимировича. Смирнов ничего, кроме газет, не читал, однако книг не отдал, так и пылились они в запертых шкафах.

Одним из первых декретов новой власти «всякое как опубликованное, так и не опубликованное научное, литературное, музыкальное или художественное произведение, в чьих бы руках оно ни находилось», было объявлено государственным достоянием. Забрать книги профессор Свешников не мог.

Еще недавно заходить в свой бывший кабинет казалось мучением. Михаил Владимирович избегал встреч со Смирновым. А теперь стало безразлично, кто там сидит за столом, какая подлая физиономия багровеет на фоне зеленой плюшевой шторы. Больных было жалко, они страдали, умирали, и хотелось что-то для них сделать.

Все в больнице знали, что Смирнов торгует больничными продуктами и лекарствами, но никто не смел мешать ему. Одни боялись, считали бесполезным делом обращаться в какие-то вышестоящие инстанции с жалобами, другие были в доле.

Смирнов никогда не здоровался и вид имел надменно-отрешенный, словно постоянно думал о высоких материях, о классовой борьбе и мировой революции и бытовые мелочи его не заботили.

— Слушаю вас, товарищ Свешников.

— Три дня назад в больницу завезли лекарства, инструменты, перевязочные средства и белье, — сказал Михаил Владимирович и, не дожидаясь приглашения, сел в кресло напротив стола.

— Ну?

— Теперь ничего нет. Я не спрашиваю вас, куда оно все подевалось. Я хочу спросить только, чем мне лечить больных?

— Да будет вам, профессор. — Смирнов скривил в улыбке пухлые красные губы. — Что вам-то до этих вшивых? Угощай-

тесь! — Он пододвинул к краю стола пачку дорогих французских папирос.

Курить хотелось, но угощаться из этой пачки Михаил Владимирович не стал. Он вытащил из кармана листки серой бумаги, исписанные каракулями сестры-хозяйки, и положил на стол.

— Вот копия накладной. Перечень того, что получила больница. За три дня такое количество морфия, глюкозы, спирта и всего прочего, что здесь перечислено, израсходовать больница не могла. Предупреждаю вас, что сам документ я приложил к письму на имя наркома Семашко.

— Стало быть так? — Смирнов прищурился. — Стало быть, донос на меня настрочили? Не ожидал. Честное слово, не ожидал. Где совесть русского интеллигента? Где ваша офицерская честь? Ну-с, что скажете, ваше благородие, господин бывший царский генерал?

Михаил Владимирович блефовал. Никакого письма не было. Впрочем, он готов был его написать, ради тех, кого товарищ Смирнов называл вшивыми.

— Что скажу? Посоветую как можно скорее вернуть больничный запас медикаментов. Доставайте лекарства, где хотите, выкупайте на собственные средства у барыг, которым вы их продали. Сейчас для вас это единственный способ уцелеть.

Смирнов открыл рот, часто, быстро заморгал, принялся чиркать спичкой. Руки его дрожали, бумажный мундштук прилип к губе. Михаил Владимирович не стал ждать, когда он опомнится и ответит. Встал и вышел.

«Храбрец, молодец, поздравляю, — повторял он про себя, пока шел по коридору, спускался по лестнице, — хорошо, что няня заранее приготовила узелок с сухарями и сменой белья. Впрочем, вряд ли это понадобится. У Смирнова связи. Он добьется, чтобы меня сразу к стенке».

Глава пятая

Германия, поезд, 2007

Соня поставила на стол бумажный стакан. Кофе был жидкий и приторно сладкий.

«Я не могла положить столько сахара. Стоп. Что я делала пять минут назад? По коридору проехала тележка из буфета. Чипсы, орешки, шоколад. Я попросила кофе. Но я не хотела. Я знаю, в поездах он всегда паршивый. Ой, мамочки, я ничего не помню. Я не понимаю, откуда взялся этот стакан и что вообще со мной происходит?»

Провал в памяти так изумил Соню, что она даже не испугалась. Никогда ничего подобного с ней не случилось. Фриц Радел сидел напротив и смотрел на нее из-под лохматых бровей.

«Я просто задумалась и заказала кофе машинально, не отдавая себе отчета. Я заказала, а он заплатил. Конечно, заплатил он, я совершенно не помню, как доставала мелочь из сумки. Господи, кто он такой? Что ему от меня надо? Почему я никак не могу от него избавиться?»

В купе никого, кроме них двоих, не было. Радел молчал и смотрел на Соню. Мерно стучали колеса, слышались приглушенные голоса за стенкой, в соседнем купе. Давно стемнело. За черным окном промелькнули огни маленькой станции. Соне показалось, что она вынырнула из тяжелой воды или зыбучих песков и эта неведомая субстанция съела все ее силы. Тело стало другим, чужим, вялым. Ей было лень шевельнуться.

— Тебе плохо, Софи, — это прозвучало без всякой вопросительной интонации.

Он не спрашивал. Он давал команду. Установку. Соня пыталась ответить, но не могла.

— Я предупреждал тебя, кофе здесь ужасный, но ты не послушала. Ты должна меня слушаться, Софи, иначе тебе будет еще хуже.

— Что? Что ты сказал?

Соне с трудом удалось произнести эти несколько слов, и только тут до нее дошло, что они оба говорят по-русски.

— Тебе очень плохо. Тело тяжелое, слабое, болит голова. Она болит так сильно, что ты не можешь вспомнить, откуда взялся этот стакан, зачем в нем столько сахара. Ты думаешь, я мог подсыпать что-то в твой кофе? Нет, милая, это было бы слишком просто. — Он протянул руку через стол, взял стакан и залпом выпил все, что там осталось.

«Я сплю, мне снится кошмар. Мне снится этот вкрадчивый упырь, сейчас открою глаза и он исчезнет», — думала Соня.

Но глаза ее были открыты, и Фриц Радел упорно не исчезал.

— Ужасная гадость. Сироп, а не кофе. Слушай меня внимательно, Софи. Только я могу помочь тебе, я сниму боль, если ты будешь хорошо себя вести.

Соня хотела встать, слегка подалась вперед, оперлась рукой о подлокотник, напрягла ноги.

— Сидеть! — тихо приказал Радел.

Последовал такой сильный приступ головной боли, что брызнули слезы. Лицо Радела стало мутным, зыбким.

— Я предупреждал, что будет хуже. Сиди смиренно. Слушайся меня, тогда боль пройдет. Послушание или боль. Я могу сделать больно, могу снять боль. Вот она отпускает, уходит, ее почти нет. Но если ты не будешь слушаться, она вспыхнет с новой силой, она станет такой нестерпимой, что тебе захочется умереть. И это в моей власти.

Боль немного стихла.

«Он сумасшедший или я? Что он бормочет? Почему мне так плохо? Я не поддаюсь гипнозу. Хотя — откуда я знаю? Еще никто никогда не пробовал меня гипнотизировать», — подумала Соня и снова попыталась встать.

На этот раз удалось. В ушах звенело, глаза слезились, все расплывалось в радужной зыбкой дымке, голова кружилась, она чуть не упала. Фриц Радел сидел, развалившись, вытянув ноги поперек прохода.

— Что с тобой, Софи? Куда ты? — спросил он по-немецки.

— Мне надо выйти, — ответила она по-русски.

— Извини, я не понял.

— Ты только что отлично говорил по-русски, почти без акцента.

— Софи, если ты обращаешься ко мне, то напрасно. Я не знаю русского языка.

Он произнес это с искренним недоумением, улыбнулся растерянно и смущенно. Поезд дернулся, Соня не удержалась на ногах, опустилась на лавку.

— Кажется, я чем-то обидел тебя? — спросил он и тронул ее руку. — Объясни, что не так?

— Все в порядке, — сказала Соня по-немецки, — просто мне надо выйти.

— Погоди. Туалет все равно пока занят, а ты, я вижу, немного не в себе. Тебе лучше посидеть и успокоиться.

— Я спокойна. Дай мне пройти.

— Пройти? Да, конечно, извини, — он убрал ноги, — иди, но будь осторожна. Ты определенно плохо себя чувствуешь.

Держась за поручни, качаясь, едва не падая, Соня добрела до конца вагона. Туалет действительно был занят. Она вышла в тамбур, прижалась лбом к холодному стеклу. Так хотелось убедить себя, что ничего не было и голова болит сама по себе, от перепада давления, от усталости. Достаточно принять таблетку, и все пройдет. Через полтора часа поезд остановится в Зюльте. Дед встретит ее на платформе. Она вежливо попросится с Фрицем Раделом и никогда больше не увидит его.

— Надо еще раз позвонить Зубову, — пробормотала она, обращаясь к своему смутному отражению, — вдруг он успел что-то узнать и объяснит мне, кто такой этот Радел?

Но телефон она оставила в купе.

Когда она вернулась, Фриц встретил ее открытой улыбкой, словно ничего не произошло. Соня села, принялась рыться в сумке. Нашла телефон. Хотела включить, но передумала. При Раделе делать этого не стоило. За полтора часа все равно ничего не изменится. Вряд ли Зубов успел узнать что-нибудь и уж точно никак ей сейчас, здесь, не поможет.

— На чем мы остановились? — вдруг спросил Радел и тут же сам ответил: — Кажется, на Парацельсе.

«Парацельс? Разве мы говорили о нем? О чем вообще мы говорили до того, как мне стало плохо? Либо он издевается надо мной, либо я схожу с ума».

— Фриц, ты мог бы зарабатывать приличные деньги фокусами с гипнозом, — быстро произнесла она по-русски, стараясь не отводить взгляда от его глаз.

Она хотела разглядеть там, в глубине желтой мути, какую-нибудь эмоцию, движение мысли. Но не могла. Глаза были пусты и мертвы, словно перед Соней в уютном купе первого класса сидело нечто неодушевленное, сложный хитрый механизм, человекообразное чудо кибернетики из далекого будущего.

Он слегка кашлянул и продолжил говорить ровным механическим голосом:

— Тебя интересовало, был ли Альфред Плут знаком с учением Парацельса и насколько серьезно это учение на него влияло.

Соне казалось, что ничего подобного она не спрашивала, вообще не произносила ни слова о Парацельсе и Альфреде Плуте, однако она решила не возражать. Пусть болтает что хочет, терпеть осталось полтора часа.

— Так вот, Плут родился через шесть лет после кончины Парацельса. Весьма показательно, что величайший врач умер сравнительно молодым, особенно по нынешним меркам. Ему было всего сорок восемь. В отличие от некоторых алхимиков он действительно умер. В девятнадцатом веке в Зальцбурге, на кладбище Святого Себастьяна, эксгумировали его останки. Кстати, оказалось, что рост его не превышал ста пятидесяти сантиметров и телосложение он имел весьма женственное. Узкие хилые плечи, широкий таз.

— Бедняга, наверное, поэтому не было у него семьи, детей, вообще никакой любви, — тихо заметила Соня.

Она была почти уверена, что Радел ее не услышит. Но он услышал, шевельнул бровями, повторил:

— Никакой любви.

— Но все-таки больных своих Парацельс любил, жалел, — сказала Соня, продолжая вглядываться в желтые мертвые глаза. —

Он лечил сифилис и проказу, пытался помочь, спасти, облегчить страдания.

— Помочь. Спасти. Облегчить страдания. Зачем? — Радел повел плечом и брезгливо скривил губы.

— Низачем. Просто так, — Соня вздохнула и отвернулась.

Возражать, спорить вовсе не хотелось. Это было скучно и бессмысленно.

— У Парацельса случались великие прозрения, — сообщил Радел и легко притронулся к Сониной руке.

— О, да, безусловно, — кивнула Соня и отдернула руку.

Прикосновение его пальцев было неприятно. Она отодвинулась подальше, спрятала руки в рукава свитера. Он не обратил на это внимания, продолжал вещать, четко выговаривая каждое слово, правильно расставляя паузы и интонационные ударения.

— Альфред Плут, безусловно, читал труды Парацельса и почерпнул из них много полезного. Парацельс утверждал, что медицина есть алхимия микрокосма. Внешнее небо является путеводителем по небу внутреннему. Небо внутри нас, оно лежит не перед нашим взором, а за ним, поэтому мы свое внутреннее небо видеть не можем, ибо никто не в силах видеть сквозь живую плоть. Но, изучая движения светил, мы можем соотнести их с тем, что происходит у нас внутри. Луна влияет на мозг, сердце связано с Солнцем, Венера — это почки, Юпитер — печень, Марс — желчный пузырь. Единство внешнего и внутреннего космоса — основа классической алхимии, идущая от «Tabula smaragdina». Небо наверху, небо внизу. Звездное небо надо мной и моральный закон внутри меня, известный категорический императив Канта. Впрочем, старик Иммануил лукавил. Небесные светила не знают морали, у них иные законы. Скажи, что тебе приходит на ум, когда ты слышишь имя Парацельса?

— Желудок — алхимик в животе, — произнесла Соня, продолжая смотреть в темное окно.

Это высказывание она нашла на последних страницах лиловой тетради. Михаил Владимирович Свешников выписывал для себя кое-что из Парацельса в феврале 1919 года.

— Разумеется, — Радел кивнул, — переваривание пищи в определенном смысле процесс алхимический. Вообще человеческий организм — самое наглядное подтверждение того, как, в сущности, убога и беспомощна позитивистская наука. Вот ты занимаешься биологией, наукой о живом. Чем отличается живое от неживого, ты можешь объяснить?

— Определение живого есть в любом школьном учебнике. Если ты изучаешь историю медицины, должен знать.

— В учебниках перечислены признаки живого. Метаболизм, деление клеток, размножение, старение. Но нет строгого определения. Между тем ни один из названных признаков не является абсолютно специфическим именно для живого. Размножаются и кристаллы. Сложные химические каталитические реакции происходят и в неживых системах. Тебе никогда не приходило в голову, что биология — наука, предмет которой до сих пор не определен?

— Да, я читала об этом. Эрвин Бауэр, «Теоретическая биология». В тридцатые годы это направление стало модным. Но ненадолго.

— Нет, Софи. Это не просто модное направление. Это одна из истин, которая помогает победить первобытный трепет перед неведомым и стать творцом, а не тварью. Кстати, как ты относишься к алхимии?

— Хорошо отношусь. С интересом.

— Надеюсь, ты согласна, что без нее не было бы ни химии, ни медицины. Алхимия породила науку.

— Ей за это большое спасибо.

— Ты напрасно иронизируешь. Настоящий ученый, исследователь, должен опираться на вечные неизменные принципы. Они есть в алхимии, но их нет и не может быть в науке, которая вся сплошь состоит из зыбких догадок, смутных теорий. Одна гипотеза противоречит другой, каждая следующая опровергает предыдущую. Они рождаются, умирают, теряют смысл. Подумай об этом, Софи.

— Да, непременно. Но сейчас мне лень думать. Я устала и хочу спать.

— Голова все еще болит?
— Нет. Она и не болела. С чего ты взял?
— Ты очень бледная, глаза красные. Вообще выглядишь плохо.

— Да? — Соня взглянула в зеркало над спинкой сиденья. — По-моему, я выгляжу вполне нормально. Просто здесь такое освещение. Ты тоже бледный как мертвец.

За окном мелькали огни, ровный ряд фонарей вдоль дамбы, соединяющей остров с материком, а дальше, по обе стороны, холодное беспокойное море. Радиоголос объявил, что через несколько минут поезд прибудет в Зюльт-Ост.

Лицо Фрица странно заерзало, словно кто-то поправил невидимой рукой мягкую резиновую маску.

— Как мертвец. Мертвец, — повторил он и тихо засмеялся.

* * *

Москва, 2007

— Проверь еще раз! — сердито сказал Зубову старик.

— Послушай, хватит дергаться. Рано или поздно она должна включить телефон.

— Ты предупредил ее, чтобы она его вообще никогда не выключала, чтобы постоянно была на связи? Предупредил или нет?

— Да, да, успокойся, ты же знаешь, насколько она рассеянная.

Зубову сейчас больше всего хотелось домой. Дома его ждала трехлетняя внучка Даша. Ее редко привозили к бабушке с дедушкой. Полчаса назад позвонила жена и сказала: если он хочет общаться с внучкой, должен ехать сию секунду. Ребенку пора спать. Даша взяла трубку и успокоила его, что спать не ляжет, будет ждать деда хоть до утра.

Утром Зубов улетал в Германию, и ко всему прочему ему нужно было поспать этой ночью хоть немного.

Иван Анатольевич поглядывал на часы. Он не мог уехать до тех пор, пока не явится его шеф, Петр Борисович Кольт. Но когда он явится, придется еще сидеть часа полтора, слушать вредно-

го многословного старика, обсуждать то, что он соизволит поведать, принимать какие-то важные решения.

— Если тебе невмоготу, можешь уматывать, — сердито проворчал старик, — мы с Петром обойдемся без тебя.

Зубов ничего не ответил, в очередной раз набрал номер Кольта.

Петр Борисович присутствовал на некоем особенном мероприятии, с которого рад был бы удрать, но не мог. Под Москвой, в бывшем дворце графа Дракуловского, проходила презентация книги Светика, дочери Петра Борисовича.

Зачем понадобилось балерине создавать художественное произведение о собственной жизни, вопрос сложный, почти философский. Но произведение было создано, книга вышла. Петр Борисович основательно потратился на творческий порыв своей красавицы дочки. Он оплатил издание книги, рекламную кампанию, несколько презентаций. Петр Борисович был человек разумный, прагматичный, но и ему приходилось иногда делать глупости.

Во дворце, в музейных интерьерах, собрался шикарный московский бомонд, самые жирные и желтые сливки. Публику развлекали цыганский хор с медведем, несколько модных эстрадных групп и популярный телеведущий в качестве конферансье.

Иван Анатольевич имел несчастье позвонить шефу в самый ответственный момент, когда в бывший графский бальный зал вынесли книгу Светика, роман «Благочестивая: Дни и ночи» в виде двадцатикилограммового торта.

Сквозь приглушенное рычание Петра Борисовича в трубку прорывался усиленный микрофоном жизнерадостный баритон телеведущего:

— Чтобы вам было так же сладко читать, как кушать этот кондитерский шедевр, пупсики мои драгоценные.

— Резать должен я, — рычал шеф, — миссия у меня почетная, понимаешь ли. — Он то ли матюкнулся, то ли икнул. — Погоди, Ваня, еще минут пятнадцать здесь побуду и попробую тихо умотать.

— Петр Борисович! Мы вас ждем! Пожалуйста, возьмите нож в руки! — громко потребовал ведущий.

— Все, Ваня. Извини, — просипел в трубку шеф.
— Ну, что он там? — спросил старик, сердито хмурясь.
— Торжественно режет «Благочестивую», — вздохнул Зубов, — разрежет и сразу сбежит. Если пробок не будет, явится к нам через час.

* * *

Москва, 1918

Корреспондент «Правды» не пожалел красок, описывая пышные похороны комиссара по делам печати. До роковых выстрелов Володарский был известен лишь тем, что закрыл все оппозиционные газеты. После смерти он мгновенно преобразился в легендарного героя революции.

«Еще с утра над городом повисли мрачные свинцовые тучи и льет непрекращающийся проливной дождь. Льет дождь и сливается со слезами горечи, злобы. Ибо плачет сегодня петроградский рабочий, провожая останки убитого вождя и трибуна своего. Бесперывной чередой проходят мимо гроба сотни и тысячи рабочих, красноармейцев, женщин. Слышатся рыдания, клятвы. Цветы и венки берутся у гроба на память».

— Похоже, они рады, они торжествуют, — шепотом заметил Агапкин, встретившись с Мастером через пару дней в том же трактире, — они празднуют эту смерть как свою личную победу.

Колбасы в трактире уже не подавали, но картофельные оладьи оказались вполне съедобными. К ним принесли топленое масло в маленьких соусниках. Оно было старым, горчило, пахло плесенью, однако Федор, жмурясь от удовольствия, съел все, до последней крошки.

— Всякая религия нуждается в святых мучениках, — грустно усмехнулся Мастер и чуть слышно добавил: — Нет страшнее греха, чем воровать у своих.

— Володарский воровал? Они сами его устранили? — шепотом спросил Федор, поперхнулся куском и мучительно закашлялся.

— Какая разница? — Мастер сильно хлопнул его ладонью по спине. — Правды все равно никто никогда не узнает. Останутся официальные мифы и невозможная путаница слухов. Будьте осторожны, Дисциплина. Это только начало. Молчите, слушайте, мотайте на ус.

Мрачно возвышенный тон большевистских передовиц вполне отражал то общее настроение возбуждения, приподнятости, траурного торжества, которое царило в Кремле.

После убийства Володарского вождь бегал по кабинету, голос его стал сильным, руки тряслись так сильно, что писать он не мог. Он диктовал приказы, распоряжения, бесконечные записки, выступал на заседаниях, кричал в телефонную трубку, одинаково нервно, шла ли речь об арестах, расстрелах, дипломатических переговорах или о норме отпуска хлеба и хозяйственного мыла железнодорожным рабочим.

Рядом с энергичным вождем Агапкин чувствовал себя вялой бесплотной тенью. Формально его начальником был Дзержинский, но еще ни разу Железный Феликс не отдал ему ни одного приказания, не потребовал отчета, даже вопроса ни одного не задал. После быстрого знакомства, сухого рукопожатия они лишь здоровались, встречаясь в кремлевских коридорах, в зале заседаний, в кабинете или в квартире Ленина.

Польский дворянин, невысокий худой блондин с жидкой бородкой, лицом полинявшего монгольского хана и вкрадчивыми повадками то ли тайного иезуита, то ли карточного шулера, улыбался Агапкину, вежливо раскланивался с ним. Всякий раз при встрече Федора слегка знобило.

Остальные обитатели Кремля и Лубянки старались смотреть мимо Агапкина, редко кто перекидывался с ним парой слов. Чужак, беспартийный, без революционного стажа, но с законченным высшим образованием. По их разумению, он не имел никакого права так легко и стремительно взлететь на самый верх их номенклатурной пирамиды, стать доверенным лицом Ильича.

Послания для Бокия вождь никогда не писал при свидетелях. Никто, кроме Агапкина, не знал об этой переписке. Федор передавал маленькие, сложенные вчетверо, не запечатанные в конверты

клочки бумаги Гайду, тот доставлял их в Питер и привозил ответы от Бокия, точно такие же клочки. Ленин быстро читал, потом Агапкин жег бумажки в большой медной пепельнице. Он перестал заглядывать в записки, чтобы больше не бледнеть и не вздрагивать.

Кроме связного, Федор был еще и личным врачом вождя, и это тоже держалось в строжайшей тайне.

Доктор Агапкин многому научился у профессора Свешникова. Он стал неплохим диагностом, но не мог понять, чем именно болен вождь. Приступы головной боли удавалось облегчать специальным массажем. Федор, смазав руки мятным бальзамом, по тридцать—сорок минут разминал ленинские виски, ушные раковины, затылок, заднюю часть шеи. Горячие ножные ванны с отварами трав расширяли сосуды. Истерические припадки удавалось купировать настойкой Melissa, пустырника и валерианового корня, массажем кистей рук и стоп. Особая дыхательная гимнастика под руководством Федора помогала вождю уснуть.

Иногда перед сном Ленин вдруг брал с полки альбом с семейными фотографиями, долго, молча перелистывал, поглаживал пальцем лица матери, отца, братьев, сестер, вглядывался в кудрявого, ангельски хорошенького мальчика, которым он был когда-то, и по щекам его текли настоящие, крупные слезы. Он шумно сморкался, мягкий курносый нос краснел, он поднимал лицо, глядел в стену, и глаза его, обычно узкие, сощуренные, становились огромными, как блюдца.

Такими же огромными стали эти глаза, когда однажды Ленин развернул очередное послание от Бокия. Клочок бумаги выпал из толстых пальцев, подхваченный легким сквозняком, пролетел в другой конец кабинета.

— Проститутка! Сволочь! Предатель! — выкрикнул вождь, побагровел и стал заваливаться на бок.

Федор едва успел подхватить его, не дал грохнуться со стула. Припадок был таким мощным, что у Федора мелькнула мысль: один не справлюсь, надо звать на помощь.

На руках он дотащил бьющееся в судорогах державное тело до дивана, влил в рычащую мокрую пасть успокоительную настойку, принялся за массаж, мят горячие ушные раковины, на-

тирал виски бальзамом, ловил дергающиеся маленькие ступни, массировал, бормотал, как заклинание:

— Владимир Ильич, тихо, тихо, сейчас все пройдет, все будет хорошо.

Наконец судороги ослабли, дыхание стало частым, хриплым. Федор посчитал пульс, припал ухом к груди. Сердце вождя билось быстро, но ровно. Он постепенно приходил в себя. Федор приподнял ему голову, дал воды.

— Как вы, Владимир Ильич?

Вождь хрипло дышал ртом, глаза прикрыты, лицо багровое, мокрое от пота. Тело несколько раз дернулось и тяжело, расслаблено обмякло. Припадок закончился.

— Дзержинского ко мне, — пробормотал он, едва шевеля вялыми губами.

Записка валялась на полу, возле телефонного столика. Прежде чем снять трубку, Федор нагнулся, поднял. Вождь отдышал после припадка, глаза его были плотно закрыты. Повернувшись спиной к дивану, Федор взглянул на мелкие косые строчки и неожиданно для себя прочитал все, от первой до последней буквы.

«Мирбах — рейхсканцлеру Гертлингу. Лично, сов. секретно.

Ввиду возрастающей неустойчивости большевиков мы должны подготовиться к перегруппировке сил. Монархисты и кадеты, возможно, составят ядро будущего нового порядка. С должными мерами предосторожности и, соответственно, замаскированно мы начали бы с предоставления этим кругам желательных им денежных средств. Большевистская система находится в агонии.

При сильной конкуренции Антанты требуется около трех миллионов марок в месяц. В случае неизбежного в скором времени изменения нашей политической линии следует считаться с более высокими потребностями».

«Ф. Кюльман (статс-секретарь Имперского казначейства) — Мирбаху, лично, сов. секретно.

Запрошенная Вами ежемесячная сумма предоставляется впредь до особого распоряжения. Прошу в особенности противодействовать влиянию Антанты в означенных Вами кругах всеми способами».

— Записку спрятали, не забыли? — послышался спокойный голос с дивана.

— Да, Владимир Ильич.

— Ну и славно. Феликс видеть не должен. Мне уже лучше. Звоните, наконец!

Дзержинский явился скоро, через четверть часа. Ленин сидел в кресле, за столом. Он быстро оправился, словно не было никакого припадка. Губы сжались, глаза сузились до щелочек.

Принесли чай, тарелку с бутербродами.

— Вы абсолютно уверены в надежности ваших людей в германском посольстве? — спросил вождь.

— Да, Владимир Ильич, — кивнул Дзержинский, — а что случилось?

— Случилась мерзость, — вождь перегнулся через стол. — Я получил перехваченную шифровку. Посол подробно докладывает своему правительству обо всех наших тайных подготовительных операциях.

«Что он говорит? Там ведь речь вовсе не об этом», — испуганно подумал Агапкин и вытер вспотевший лоб.

— Владимир Ильич, такая информация просто не могла миновать посла, — мягко заметил Дзержинский, — нас заранее предупредили, что придется поставить его в известность.

— Да! — резко выкрикнул Ленин. — Да! О паспортах и визах посол не может не знать. Но о наших личных зарубежных счетах он знать не должен! Разве его собачье дело, сколько и в какие банки положили вы, я, товарищ Свердлов, товарищ Троцкий? Какого черта?! Именно за это и было заплачено вашим верным людям! И вот, оказывается, послу все известно! Теперь их поганые газетенки начнут вопить, что мы наложили в штаны и готовимся бежать из России!

Федор сидел в углу, у окна. «Хитрит, бес. Реальное содержание шифровки подменяет вымышленным. Врет даже своему железному псу», — пронеслось у него в голове.

Он не видел лица Дзержинского, но заметил, как натянулась кожа на узком бритом затылке.

— Это ложь, грязная провокация. Господина посла нарочно ввели в заблуждение. Мы найдем виновных и накажем их.

— Феликс Эдмундович, не будьте младенцем! — вождь покачал головой и оскалился в злой усмешке. — Ну, расстреляете вы десять, сто, тысячу провокаторов и предателей. Все равно буржуазная пресса подхватит и разнесет этот скандал. Чем активней мы будем опровергать их грязную клевету, тем больше людей на Западе в нее поверит. Да и эта сволочь, господин посол, вряд ли согласится встать на нашу сторону в таком щекотливом вопросе.

— Что же делать?

— Единственный способ погасить скандал — устроить другой, еще более громкий. Как поживает ваш новый сотрудник, отчаянный юноша, друг поэтов и артистов? — Ленин подмигнул и хихикнул.

— Блюмкин? — Дзержинский вздрогнул, произнес эту фамилию с некоторой брезгливостью, будто сплюнул, и впервые обернулся, быстро взглянул на Агапкина.

— Не беспокойтесь, Феликс Эдмундович, — добродушно усмехнулся Ленин, — товарищ Агапкин свой. Я полностью ему доверяю.

«Чего он хочет? — думал Федор, пряча глаза. — Почему не дал мне уйти?»

— Владимир Ильич, Яшке Блюмкину восемнадцать лет. Он сопляк, авантюрист и хвастун.

— Именно такой и нужен.

— Это безумие!

— Феликс Эдмундович, — вождь грустно вздохнул, накрыл его руку ладонью, — безумие не воспользоваться таким замечательным шансом.

— Владимир Ильич, но как же? — хрипло прошептал Дзержинский.

— Совсем вы, голубчик, не думаете о своем здоровье, — ласково заметил Ленин. — Переутомились, мало спите, много курите. Поэтому стали туго соображать. Не мешайте Блюмкину. Просто не мешайте ему, это все, что от вас требуется. Каша уж заварилась, ничего не поделаешь, надо расхлебывать.

Дзержинский молча кивнул.

Когда он вышел, вождь расслабленно откинулся на спинку кресла, подозвал к себе Агапкина.

— Я бы хотел, чтобы при этом важном разговоре присутствовал Глеб Иванович. Но поскольку такой возможности нет, вы будете его глазами и ушами. Запомните все, что происходило сейчас тут в кабинете. Запомните хорошенько, потому что записывать ничего нельзя. Свяжитесь с Глебом Ивановичем и расскажите ему лично при встрече.

— Владимир Ильич, но я ничего не понял из этого разговора, — честно признался Агапкин.

— А вам и не надо понимать. Просто запомните и перескажите. «Вот что! — подумал Агапкин. — Теперь я сам должен сыграть роль клочка бумаги. Я живая записка. Не исключено, что кто-нибудь скоро сожжет меня в пепельнице».

* * *

Зюльт, 2007

Дед ждал Соню на перроне. Первым увидел его шапку с помпонами Фриц Радел.

— Господин Данилофф, мы здесь! — крикнул он и помахал рукой.

Хлестал холодный, косой дождь, брызги залетали под зонтик. Дед шел медленно, обычно Соне приходилось сдерживать шаг, чтобы не обгонять его, но на этот раз она еле волочила ноги и отставала.

Радел взял деда под руку и оживленно болтал, рассказал, как ехал с Соней в одном купе, узнал, но не решился заговорить. А потом увидел ее в Пинакотеке, у картины Альфреда Плута, и тут уж не сдержался.

— Микки, ваша внучка поразительно непрактичный и рассеянный человек, она вся в своих мыслях, кажется, думает только о биологии. Я помог ей сделать кое-какие мелкие покупки, но не уверен, что она была рада моей компании. Скажите, она всегда такая серьезная? Она когда-нибудь улыбается?

— Да уж, Софи нельзя назвать общительной барышней. — Дед хмыкнул и тут же переменял тему. — Фриц, вы долго пробудете в Зюльте?

— Барбара неважно себя чувствует, я останусь с ней на пару недель.

Он исчез только у крыльца виллы, отдал пакеты с Сониными покупками фрау Герде, экономке деда, пожелал всем спокойной ночи и растворился в темноте.

— Ты плохо выглядишь, — сказал дед.

— Я устала. — Соня уселась в кресло в гостиной, поджала ноги. — День был ужасно длинный. Скажи, ты давно знаком с этим Раделом?

— Давно. Лет пять, наверное. Он приезжает иногда к Барбаре, она в нем души не чает. По-моему, он вполне симпатичный и удивительно много знает. Пару месяцев назад Барбара устроила вечеринку в честь своего дня рождения, собрала полгорода. Я бы умер со скуки, если бы не Фриц. Он так интересно рассказывал о древнекитайской медицине. Что, он не понравился тебе?

— Нет.

— Почему?

— Он вел себя слишком навязчиво. Как ты думаешь, он знает русский?

— Кто? Радел? — дед даже слегка привстал в своем кресле. — Конечно, нет. Почему ты вдруг спросила?

— Мне показалось, он понимает. Я говорила по телефону, он слушал.

— А что еще ему оставалось делать, пока ты говорила? Заткнуть уши? Кстати, интересное совпадение, твой папа тоже пытался убедить меня, что Фриц Радел знает русский, но скрывает это.

— Папа? Разве они с Раделом встречались? — спросила Соня и почувствовала, как все у нее внутри похолодело.

— Ну да, несколько раз он подходил к нам на берегу, а однажды мы вместе сидели в кафе.

После того как Соня решила сообщить о папиной смерти, дед молчал двое суток. Не ел, только пил теплую воду с медом из Сониных рук. Даже верную Герду не подпускал к себе. Сидел в

кресле, на балконе, закутанный в вязаную шаль, накрытый пледом, смотрел сухими глазами на дымчатый морской горизонт, слушал крики чаек. Потом попросил Соню рассказать, как это произошло. Выслушал спокойно, погладил Соню по голове, произнес чужим ровным голосом:

— Десять дней.

— Что ты имеешь в виду? — спросила Соня.

— Целая жизнь может уместиться в десять дней. Шестьдесят семь лет мы с твоим папой не виделись. Встретились и опять расстались. Одно утешает: эта разлука будет куда короче той, прошлой.

Десять дней, которые папа провел здесь, на острове, в рассказах деда действительно преобразились в целую жизнь. Он помнил каждую минуту, каждую деталь. О чем они говорили, что ели, во что одет был Дмитрий, какая стояла погода, с какой стороны дул ветер, какие облака плыли по небу. И сейчас он опять с удовольствием погрузился в воспоминания. Ему дела не было до Фрица Радела, просто очередной повод поговорить о Дмитриии. Деду казалось, что, пока он говорит, его сын жив. Он где-то здесь, рядом, просто вышел на минуту и сейчас вернется.

— Микки, неужели вы не видите, она засыпает, — проворчала Герда, не поднимая глаз от своего вязания, — ей надо в душ и в постель.

— Мы разве не будем ужинать? — спросил дед.

— Нет. Я правда очень устала.

— И ты даже не расскажешь, как съездила в Мюнхен?

— Завтра, дед, завтра, прости.

— С утра ты уйдешь в лабораторию. Хотя бы скажи, ты нашла в Пинакотеке то, что искала?

— Да. Я видела эту картину. — Соня сползла с кресла, прошла босиком через гостиную.

— Соня! — окликнул ее дед.

Она остановилась в дверном проеме, обернулась.

— Сонечка, с тобой все в порядке? Ты ничего не скрываешь?

Соня молча помотала головой.

— Микки, оставьте девочку в покое. — Герда отложила вязание. — Это вы можете себе позволить спать до одиннадцати. А она